A decorative laurel wreath with symmetrical branches on the left and right sides, framing a central rectangular area. The branches are detailed with leaves and small berries.

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

*(ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ)*

О „СЫНАХ ОТЕЧЕСТВА“

Григорий Мирошниченко — один из советских писателей, рожденных гражданской войной 1918—1920 гг. Юным добровольцем с Кубани он ушел в Красную Армию, чтобы участвовать в ее великих делах, жить молодостью республики, учиться ее языку — воинственному, возвышенному, пить из источников исторической правды...

О гражданской войне Григорий Мирошниченко написал «Юнармию».

Ромен Роллан так написал об этой книге: «Это одна из самых трогательных книг, которые я читал о гражданской войне... Эта небольшая книга еще раз показывает нам, как в вашей стране создается новое человечество, сознательное и свободное.. Жму Вашу руку, дорогой товарищ, и желаю Вам удачной работы, здоровья и счастья».

Вчерашний «юнармеец» — Григорий Мирошниченко пошел на войну шестнадцати лет — стал писателем, кончил Академию.

Великая Отечественная война с фашизмом, вспыхнувшая 22 июня 1941 года, застаёт Мирошниченко в Ленинграде. Писатель идет без минуты промедления на передовые линии — в ряды Краснознаменного Балтийского флота...

Битва за создание нового человечества, сознательного и свободного, продолжается, — она приняла предельные, всемирные масштабы.

Григорий Мирошниченко — участник этой битвы: он писатель, комиссар, агитатор, лектор... С оружием в руках отстаивает он позиции на подступах к Ленинграду, участвует в Таллинских боях, в походе Таллин—Кронштадт в августе 1941 года, ведет газетную работу в «Красном Балтийском флоте», участвует в обороне Ленинграда, изучает бомбардировочную морскую авиацию...

Плодом всей этой боевой и писательской работы — девятемсячный период — является данная книга «Гвардии полковник Преслаженский».

Она написана «пополам» с крепчайшими, чудовищными испытаниями осады. Оттого в книге много душевной наполненности... Мы читали эту книгу — глава за главой — в писательской ленинградской, балтийской среде.

Чистое дыхание в книге, человеческая книга. Автор упорным шагом идет в жизни, он продолжает поход, давным-давно начатый на

Кубани, — в поисках правды, счастья народа и сильных, верных товарищей.

Книга то волнует до глубины души трагизмом современных боев, остротой потерь, то заставляет хохотать здоровым смехом, когда идут полные юмора описания быта летчиков, то заставляет над многим задуматься.

Большая сила у нашего народа, раз и в труднейшую за все время войну не ослабевают его творческие силы, и мы видим, как сквозь огонь шагают люди нашей литературы и искусства, творя новые произведения.

Темой Григория Мирошниченко является морская авиация, люди дальних ударов по Германии. Но, вчитавшись, вы увидите, что тема гораздо шире: это лирико-романтический рассказ о народе, который бьется со смертельным врагом. Вы увидите в книге и едва оперившихся юнцов (отзвуки «Юнармии»), и молодых летчиков, впервые вылетающих в боевую операцию, и ветеранов воздуха, и стариков-крестьян, тысячу нитей связанных с этими мировыми советскими «ассами», и крестьянок, и детишек, и артистов, и галерею упорных ленинградцев, проходящих как бы фоном в этой книге...

Автор видит контрасты жизни, смело дает эти контрасты и в книге. И чистейшие лирические места с закономерностью чередуются с местами, где только огонь, дым, кровь и смрад... На войне, как на войне. Установление справедливого порядка, утверждение воли свободных народов требуют крови и жертв.

Автор знает военное дело, понимает его «стихию», и изображенные им картины полетов, бомбежек, боев за Ленинград написаны уверенной рукой, местами просто мастерски. Много вплетено в книгу подлинных документов: тут и трогательные детские письма к летчикам, и обнаженные показания о немцах, и сводки, заново заставляющие пережить осень 1941 года. Книга читается пристально...

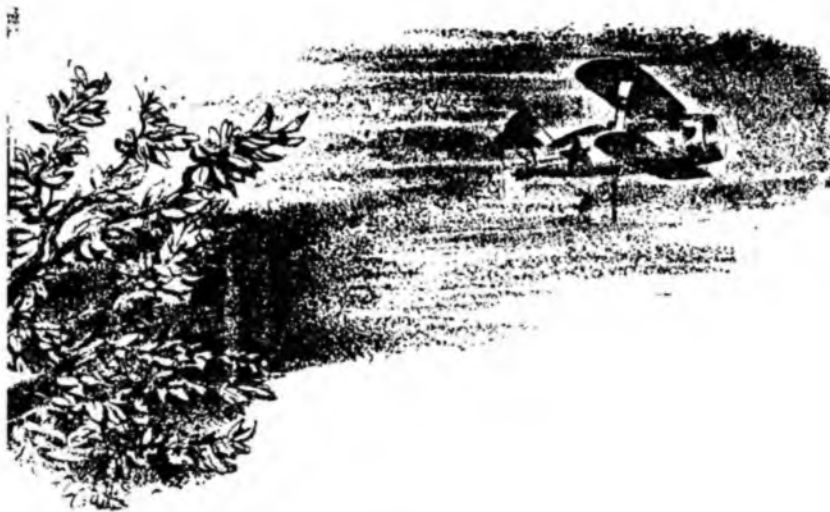
Книга эта должна обрадовать читателей страны: она боевая, трепещущая свежестью, то лирическая, то гневная. В книге много любви к русскому народу, который так стойчески бьется. Автор знакомит читателя с прекрасными представителями нашего флота и авиации — летчиками, чье мужество, изображенное в книге, может вдохновить тысячи людей на новые боевые дела, на новые порывы во имя Родины и Победы.

Не всегда закончен рисунок, не всегда закончено изображение характеров героев книги... Писатель со своими героями, и когда книга, первый том серии будет выходить в свет, будут твориться вторая и третья книги — о новых операциях, значение которых вам понятно.

Хорошую работу сделал писатель Григорий Мирошниченко.

Кронштадт, 1945 год

Всеволод Вишневский



Часть первая

I. НА „ДУГЛАСЕ“

Капитана Иванова и экипаж его «Дугласа» считали погибшим. Одни говорили, что отважный капитан Иванов разбился при посадке, другие утверждали, что воздушный корабль погиб в бою с десятком гитлеровских «Мессершмиттов», третьи предполагали невероятное, хотя и возможное, — что «Дуглас» вспламенился и сгорел над Ладожским озером.

— Да этого быть не может! — воскликнул Герой Советского Союза, прославленный полковник Романенко. — Я знаю его, знаю капитана Иванова давно. Он в воде не утонет, в воздухе не сгорит, на земле не разобьется, — летчик отличный, предусмотрительный. И если даже его где-то подловили, то ручаюсь: он не упадет на чужой территории. Будьте спокойны!

— Так где же он? — спросил я. — Ведь четвертый день как его нет на нашем аэродроме.

— Капитан Иванов, — уверенно сказал Романенко, — придет.

Туман долго не рассеивался, наоборот: он сгущался, полз по самым верхушкам хвойных побелевших деревьев, слегка приподнимался облачками и снова опадал, закрывая все аэродромное и приаэродромное пространство.

На другое утро погода не улучшилась и ничего хорошего не предвещала.

На аэродроме переставали верить, что Иванов вообще когда-нибудь прилетит. Единственной надеждой, маленькой, но все-таки надеждой, служили категорические заявления командира полка Ивана Георгиевича Романенко:

— Капитан Иванов — старый воздушный волк. Он пройдет воздушными тропками, всякими обходными путями. Он выберется из какого угодно положения. Вот-вот он появится здесь, станет «смирно» и доложит: «Товарищ полковник,—ваше задание выполнил, прибыл в полном здравии и благополучии».

А таких случаев еще не было, чтобы слова полковника Романенко не подтверждались.

Я капитана Иванова ждал с особым нетерпением. Мне с ним нужно было срочно лететь в часть Героя Советского Союза полковника Преображенского.

Я видел полковника всего один раз, — это было в маленьком штабном домике под Ленинградом. Познакомил нас Иван Георгиевич Романенко. Преображенский, плетистый и коренастый, поднялся, и мы горячо пожали друг другу руки.

— Имейте в виду, — сказал он, прищурился хитроватый глаз, — дружба сия будет навечно... Если уж Иван, — это он говорил о Романенко, — если уж Иван знакомит, стало быть стоит... Надеюсь, мы будем служить вместе хорошую службу нашей Родине. Приезжайте к нам в полк...

В первый же вечер я почувствовал в нем незаурядного командира, простого, быстро располагающего к себе человека. Я дал слово обязательно побывать в полку Преображенского. Теперь я могу встретиться с его прославленными летчиками и выполнить те задания, которые мне были поручены штабом флота. Но...

— Не придется ли отложить поездку? — сказал я Ивану Георгиевичу на другой день. — Иванова ведь до сих пор нет. И будет ли?

— Ни в коем случае. Лететь! Завтра он будет здесь.

Переночуем, поговорим, а там, гляди, настанет чудесное утро.

На дворе была темная, звездная ночь. Лежал легкий сыроватый туман. Подмораживало.

Спящая деревушка, куда мы пришли с аэродрома, уютно расположилась в лесу. Черноватые домики ее, запорошенные снегом, сливались с густым шумящим бором.

Мы вошли в комнату, чисто прибранную, теплую и уютную.

— Здесь отдохнем немного, — сказал Романенко, снимая кожаный реглан. — С начала войны никто из нас по настоящему не отдыхал. Все суета! Военное время...

Мне тоже хотелось отдохнуть, но не удалось. Мы подсади к горящему камину, в котором громко потрескивали дрова, и в беседе провели всю, оказавшуюся короткой, ночь. Полковник Романенко рассказывал о делах своего друга Евгения Николаевича Преображенского, о его незаурядной храбрости, мужестве и совершённых подвигах. Он говорил о полковнике с огромным удовольствием, с наслаждением, вызывая во мне желание поскорее увидеть этого человека. Мне хотелось тотчас же выскочить из этой комнатухи, бежать на аэродром и немедленно лететь. Лететь!

— Слтай, обязательно слтай, — подзадоривал Романенко. — Такие люди встречаются не так-то часто.

Мы совсем не заметили, как в небольшое окошко забрезжил слабенький, но удивительно хороший, северный, сиреневый рассвет.

Солнце поднималось торжественно и медленно. Туман исчез еще ночью, и фиолетовая даль была чистой и просторной.

На аэродроме стояли летчики и вглядывались в погоду, теперь уже голубоватое небо. В нем кружился «Дуглас».

— Вот он, капитан Иванов! Прилетел! — обрадованно сказал полковник Романенко и, весело похлопывая лётными рукавицами, засмеялся.

Мне почему-то не верилось, что это Иванов.

— Он! Это непременно он! «Дуглас»-то мне знакомый. Не видишь разве?

Самолет широко развернулся, лег на левое крыло, сделал крутую, отчетливо вычерченную дугу, и стал величаво и спокойно снижаться.

Моторы «Дугласа» громко взревели на земле. Пропеллеры постепенно уменьшили бег, затем качнулись, застыли — остановились. Пять человек — экипаж машины — стали по ранжиру. Иванов вышел решительно вперед:

— Товарищ полковник, — доложил капитан немного хриплым, простуженным голосом, — прибыли благополучно! Задание командования выполнено.

— Где же это вы, товарищ капитан, пропадали? — привычно склонив голову, спросил полковник Романенко.

— После воздушных боев чинился на двух аэродромах.

Все стало ясно. Капитан Иванов, как он рассказал нам, доставляя груз, крепко подрался с четырьмя гитлеровскими летчиками.

— Спалить захотели! Да разве ж это можно было допустить, — сказал помощник борт-механика Иван Разломов. — Таковую птицу! Такой груз! Нет, брат, шалишь! Сам сгоришь! Двое из них сгорели. Остальные ушли.

Изложив все, капитан Иванов стоял и ждал приказаний полковника.

— Ну что ж, вас ждет горячий обед и очень короткий отдых, — сказал полковник уже по-дружески. — Потом айда — вверх, за тридевять морей, на «Большую землю». И лететь надо немедленно.

— Есть лететь! — бодро козырнул капитан.

После обеда и короткого отдыха была произведена загрузка самолета и экипаж стал по местам.

Мороз был крепкий, воздух — сухой и звонкий. Солнце поднялось высоко, когда машина капитана Иванова оторвалась от земли. Она сделала прощальный круг и двинулась на восток, прикрываемая девяткой увертливых истребителей.

Они шныряли в воздухе, словно зайцы по кустам: то летели вперед, то сверху, то сзади.

Я с грустью думал о полковнике Романенко, который остался на аэродроме. Он подал мне теплую руку на прощанье, сунул в карман записку для Преображенского и вышел на снег. Потом снова забрался по трапу в «Дуглас», потряс мою голову и сказал ободряюще: «Будь жив! Привет!» Оглянувшись, он махнул рукой и вылез из самолета.

В узенькое окошечко самолета, затянутое морозной пеленой, я видел его грустное, задумчивое лицо.

Моторы ударили отчетливо и громко. Машина, покачиваясь, вышла на старт и побежала. Когда самолет поднялся, сделал вираж, огибая две узкие и длинные стежки железной дороги, я еще раз увидел человека в реглане, медленно уходившего с аэродрома, — полковника Романенко.

Вспоминается...

В первый раз о летчике Романенко я услышал в 1937 году. Был душный ленинградский август. Я сидел на скамейке у стрелки Парка культуры и отдыха и наблюдал за оживленно сновавшими вдоль залива парусниками и байдарками. Внимание мое привлекли сидевшие неподалеку от меня вихрастый парень и белокурая девушка.

— Я хочу, чтобы ты пригласил его, — говорила она, кусая стебелек травы.

— Но ведь мы с ним незнакомы. Чего ради он станет приходить к нам. Пойми!

Меня заинтересовал этот странный разговор.

— Простите, товарищи, — спросил я осторожно, — о чем вы так горячо спорите?

Девушка недоверчиво взглянула на меня и улыбнулась.

— Понимаете, — сказала она. — Мы были в День авиации на аэродроме, и там нас поразил один молодой летчик. Такого мастера, таких полетов мы еще не видели. И мне хочется, слышишь, Петя, мне надо обязательно познакомиться с ним.

— Кто же это? — спросил я своих новых знакомых.

Петя и Катя, назвавшиеся Хроменцовыми, сказали:

— Лейтенант Романенко.

Так я узнал о летчике Романенко.

...Как-то зимой я поехал с приятелем в одну из вновь созданных истребительных частей. Зимнее небо голубело. Ровные редкие тучи плыли быстро. Где-то недалеко за ними гудел мотор самолета. Мы прислушались. Неожиданно над нами молниеносно пронесся истребитель. Мы едва успели нагнуть головы, как серебристая птица, сливаясь с седыми космами облаков, взмыла к небу.

— Отчаянный! — сказал мой друг, покачивая головой.

А ловкий истребитель, прорезав облачность, камнем полетел вниз, к земле. Мотор едва был слышен. Самолет, казалось, сорвался, еще секунда — и он ударится о землю, разлетится в кусочки. Наверное, летчик, так мне представилось, простался с жизнью. Мой спутник побледнел.

Видно, бедняга не сумел выйти из «штопора». Сколько их, отважных и смелых летчиков, испробовав «штопор», умолкало навеки... Секунда! Вторая! Третья! Четвертая! Нет больше самолета и летчика! Земля у нас качается под ногами...

А самолет давно взмыл к бесконечному голубому небу...

По улицам авиационного городка взад и вперед сновали машины, торопливо шли летчики, механики, техники. По специально отведенным дорогам двигались машины с бензином.

Мы не успели дойти до штаба, как серебристая птица, забравшись высоко-высоко, сделала «мертвую петлю». Мотор рвал воздух. Самолет скользил...

— Чудесный летчик!

Истребитель перешел в горизонтальный полет. Мотор увеличивал обороты. «Змейку» сменила «широкая спираль». Потом резкая высота и потеря скорости. Новый «штопор». Горизонтальный полет на больших режимах. И вдруг снова затяжной «штопор».

Он был исполнен летчиком непревзойденно. Не только мы, все вокруг нас смотрели вверх. Мы замерли, когда пилот совершил глубокий вираж! Потом все пошло кувырк... Внешняя петля! Полубочка! Бочка! Медленная бочка!..

На аэродроме мы неожиданно столкнулись лицом к лицу с летчиком, фотография которого незадолго до того попала мне в газете. Я даже помню строчки под этим снимком: «За образцовое выполнение специальных правительственных заданий лейтенант Иван Георгиевич Романенко награжден орденом Красной Звезды».

Мужественное лицо, внимательные пытливые глаза, густые, зачесанные назад волосы. Да, это был он. Его полет мы наблюдали.

Но лично познакомиться в тот день с летчиком Романенко мне не удалось. Я был занят порученным мне делом, а когда освободился и спросил начальника штаба,

где Романенко, — узнал, что он улетел на выполнение задания.

— Вернется, очевидно, не скоро, — добавил начальник штаба.

...Миновало довольно продолжительное время. Наступила суровая зима 1939 года. Я поехал на фронт, на Балтику.

Замерзший залив. В небе тяжелые бомбардировщики, а над ними стремительные советские истребители. Гром артиллерии несясь с Карельского перешейка.

Поезд, окутанный облаком пара, остановился у маленькой станции. Лютый мороз шипал лицо, звенел в ушах. Деревня, через которую я проходил, вся была занесена снегом. А вверху, в почти отвесном пике, неслась машина, звонко и упрямо выводя победную песню.

Истребитель молниеносно менял одну эволюцию за другой. Я залюбовался самолетом. В его полете была подлинная поэзия, музыка!

У колодца, поставив ведро с водой, стояла молодая женщина.

— Це наш Романенко литае, земляк, — сказала она певуче по-украински.

«Много у Романенко земляков», — подумал я тогда.

...В кают-компании тихо. Рослый человек торопливо вошел в комнату, и все переменялось. Это был Романенко.

— Маша! По моему заказу — десяток яиц всмятку, — сказал он.

Девушка улыбнулась, зная, очевидно, вкусы майора.

К столу, где сидел Романенко, подсели Алексеев, Карелов, Хроленко — все известные летчики.

— Десяток яичек, пожалуй, мало, Иван Георгиевич? — сказал кто-то из них вполне серьезно.

Романенко засмеялся. Чувствовалось, как с его приходом все стало здесь иным, более живым. Голубая комната наполнилась веселым шумом, шутками, задорным смехом. Лица командиров заметно помолодели.

Романенко был душой коллектива. Он быстро сходился с людьми. И хотя наше знакомство состоялось только что, мне показалось, что я знаю Романенко уже годы. Да в сущности это так и было.

Я рассказал майору о давнишнем желании Хроменцовых встретиться с ним. Романенко отнесся к этому очень серьезно, расспросил о них, узнал адрес и здесь же написал:

«Катя и Петя Хроменцовы!

Будайте здоровы, встретимся обязательно после войны с белофиннами.

Иван Романенко“.

Потом он стал торопить засидевшихся за столом летчиков:

— Пошли, товарищ Карелов, пошли, товарищ Хроленко, довольно вам чаевничать, куда совесть девалась у вас? Пошли!

— Да мы, товарищ майор, только собрались...

— Вот ангелы, все слопали, а говорят — только собрались. Вылезайте, положенное-то съели. — И под эти шутливые упрёки летчики поспешили на аэродром.

Многое я вспомнил, сидя в кабине «Дугласа» капитана Иванова. Машина настойчиво шла вперед...

Под нами редкий, чернеющий лес, покрытый легким инеем. По опушке бродят, словно безумные, люди в германских касках, с автоматами. Бродят в поисках пищи, теплого крова, одежды. Гитлеровская грабь-армия! Но она все равно погибнет в наших лесах! Ляжет костями, на наших полях найдет себе могилу!

Мы над озером. Плывут корабли, груженные баржи. Все это Ленинграду. Хлеб... Оружие... Снаряжение фронту...

Слева один за другим идут в голубом небе двенадцать тяжелых самолетов, — они тоже летят к Ленинграду!

К Ленинграду направляются по гладко укатанной ледяной дороге и груженные автомобили, — много, один за другим.

Внизу видна сильно разрушенная железнодорожная станция. Не станция — разбитая коробка. Обломки двух горящих «Юнкерсов». Они, видно, только что свалились и еще дымятся. У водонапорной кирпичной башни, врезавшись моторами в землю, с переломанным хвостом и с черной свастикой, торчит еще один «Мессершмитт-110». Добомбился!

...Петр Васильевич Кондратьев, командир одного из

авиационных полков — тоже хладнокровный и смелый летчик — с увлечением рассказывал мне:

— Белофинские самолеты мы уничтожали на взлетах. И вот как-то раз вернулся я из одной штурмовки. Меня встречает майор Романенко, спрашивает:

— Что вы там видели сегодня у белофиннов?

— Пехоту на льду, — отвечаю. — Разрешите, товарищ майор, слетать!

Майор подумал и сказал:

— Нет, не разрешаю. Нужна точная проверка.

— Не доверяете?

— Нет, проверяю, — сказал он. — Но это не одно и то же. Раздался звонок.

— Пехота белофиннов движется по льду к берегу, — доложили по телефону.

— Ну что? Неправда? — спрашиваю.

— Товарищ Кондратьев, — говорит Романенко, — седлайте коня (он почему-то считает меня кавалеристом).

Оседлал я коня и полетел туда, где своими глазами видел перекатывавшуюся по льду вражескую пехоту. Едва нашел. Замаскировалась она белыми простынями. Человек по пять прятались под одной простыней.

Долго я летал. Наконец заметил их и давай жарить из пулеметов по этим белым раздувшимся простынкам. Развернусь, ударю, а они, как лягушки, прыгают во все стороны. Батальона белофиннов как не было на льду.

Возвращаюсь на аэродром.

— Что же вы, казак кубанский, наделали сегодня? — встречая меня, говорит Романенко.

Меня прямо в пот ударило.

— Не знаю, товарищ майор, — говорю, — что бы я такое плохое мог сделать? Штурмовал я как будто складно. Никто не ушел.

— Да ведь вы шюцкоровского генерала убили! Ну, прямо международный скандал! Лихо вы рубанули сегодня! Лихо!

Я не сразу понял шутку майора Романенко и даже немного растерялся. Стою и молчу. А Романенко смотрит на меня и улыбается.

— Ну, ладно, — говорит он. — Судить вас за это не будут. Слетайте, пожалуйста, еще разок. Уложите там

еще парочку таких сиятельных генералов. За них не страшно и под суд идти.

— Сделал я тогда еще четыре вылета. Но точно не знаю, подбил я еще хоть одного генерала или нет. Об этом белофиннам больше меня известно.

Петр Васильевич Кондратьев был в свое время помощником майора Романенко. Работа у них спорилась. Им даже завидовали в других частях, говорили: «Вот, братья, водой не разлить!»

Однажды Романенко обратил внимание, что Петру Васильевичу Кондратьеву, его ближайшему помощнику и хорошему другу, приходится вылетать на боевые задания реже других.

— Позовите Холдеева, — приказал Романенко. Вскоре летчик явился.

— Вот что, товарищ Холдеев, возьмите-ка вы эту шашку и передайте ее товарищу Кондратьеву на остров (Кондратьев был как раз на одном острове). Пускай Петр Васильевич лозу покрепче рубает, руку получше набьет!

Холдеев глазом не моргнул. Взял длинную шашку в никелированных ножнах с пушистым темляком, козырнул, повернулся и вышел. А когда летел на остров, положил эту шашку в самолет.

Кондратьеву в тот же день она была торжественно вручена вместе с коротенькой запиской от майора.

Кондратьев недоумевал. Он принял от Холдеева шашку, но вместо того, чтобы пойти в лес и «порубать лозу», как советовал майор, запрятал ее под кровать и немедленно вылетел с эскадрильей на боевое задание.

— Так и не могу понять, — говорил смеясь Петр Васильевич, — почему Иван Георгиевич считает меня кубанским кавалеристом? Удивительное дело.

— Шашка-то у вас цела? — спросил я как-то у Кондратьева.

— Цела. Куда же мне ее девать? Она ведь подарок от друга. Такую шашку беречь надо. В ней заложена и дружба, и выговор.

«Садитесь, друг! Летайте смело, — написал он тогда в записке. — Хорошая у вас машина. Мотор, как зверь, работает!...»

А однажды такое дело было. Романенко прилетел на остров Лавенсаари. Его встретили давнишние друзья:

Буряк, Шаров; встретили и доложили о том, что они успели сделать за несколько последних дней.

— А кто вы такие? — спросил их вдруг майор.

Летчики растерялись.

— Кто вы такие, спрашиваю я вас? — повторил свой вопрос Романенко.

— Я — летчик Буряк, — говорит Буряк озираясь.

— Я — летчик Шаров, — смущенно говорит Шаров.

— Ничего подобного. Вы не летчики!

— Да как же, товарищ майор, мы и есть летчики: Буряк и Шаров.

— Не вижу. Голодранцев в моем подразделении никогда не было. Что это у вас на ногах?

— Унты, — хором отвечают летчики.

— Тряпки рваные у вас, а не унты! Чтобы завтра было все новое.

— Так у нас склада здесь нет...

— Знать ничего не знаю, чтобы завтра были унты.

Летчики всю ночь чинили унты, но от этого они не стали лучше.

— Беда, — сказал Буряк, — пропали мы с тобой, товарищ Шаров.

На утро прилетел знакомый самолет Романенко. Кто-то заметил в его кабине две пары новых унт. И когда Романенко пошел к мотористам, Шаров и Буряк одели новые унты.

— Ну, как, — спросил, возвратясь, Романенко, — хорошие унты?

— Замечательные!

— Давно бы так. Теперь я могу точно сказать, вы летчик Буряк, а вы — настоящий летчик Шаров!

...Наш самолет в пути уже час пятнадцать минут. Проходим древний город Тихвин. Лежат перевернутые вражеские автомобили, валяются обломки самолетов, недавно еще грозных бронемашин. Враги легли здесь костями.

Моторы работают на повышенном режиме. В полете проявляется все тонкое летное мастерство и опыт Иванова. Он ловко обманывает гитлеровцев: те не успевают даже приготовиться к стрельбе, как Иванов скрывается.

Один немецкий истребитель сделал неудачный заход.

Стрелки-радисты открыли огонь, и враг взметнулся, отвалил в сторону.

Капитан Иванов промчался над минометными гнездами так низко, что гитлеровцы, перепугавшись, бросились головами в глубокий снег, как в воду, оставив свои минометы. Не сладко живется им в наших краях, а ведь зима только что началась. Придет большая, суровая зима...

...На снежном поле лежит буква «Т» — посадка капитану Иванову разрешена. Крохотные домики. Застывшая река Молога. С берега реки на санках съезжают дети. Сегодня ведь воскресный день.

Самолет снижается и мягко садится. Когда моторы перестают работать, к самолету подходит подтянутый, чисто выбритый капитан Бородавка. Это начальник штаба полка Преображенского.

— Полковник здесь? — спрашиваю я капитана. И слышу в ответ:

— Полковник Преображенский только что улетел...

II. КАПИТАН БОРОДАВКА РАССКАЗЫВАЕТ

Начальник штаба капитан Бородавка, типичный украинец, привел меня в крестьянский, крытый соломой дом. И просторный незагороженный двор, и высокий сарай под камышом, и снежная горка во дворе, и даже узенькая тропинка, ведущая к реке, — все это, такое русское и родное, казалось, давным-давно знакомо мне. Встретила нас Татьяна Яблокова, хозяйка этого дома, белокурая молодая женщина. Колька, ее бойкий остроглазый сын, худощавая Манька, в холщовой рубашке и белом передничке, приняли меня как своего, давно знакомого.

— А дяди Жени нету, — протяжно сказал Колька и доверчиво взял меня за руку.

— Будьте как дома, — сказала приветливая хозяйка, — полковник прилетит скоро, дня два вам придется его подождать.

А дом был неприхотливый. Морская шинель с нашивками висела на гвоздике. В углу стояла простая, по-деревенски скромно прибранная кровать. Обыкновенный фа-

нерный столик на тонких неуклюжих ножках стоял посреди крестьянской хаты. На нем — роскошный, отделанный перламутром аккордеон. Хозяйские фотографии по стенам, в углу божница и вышитый рушник — вот и все, что было в этой светлой, просторной избе, в которой жил полковник Преображенский.

Печка-временка, еще одна кровать — комиссара Григория Оганезова — и окованный сундук дополняли незатейливое убранство.

За обедом в кают-компании, куда пригласил меня капитан Бородавка, я увидел летчиков Преображенского, техников, мотористов, рядовых краснофлотцев. Это были сильные, здоровые, веселые люди. Они с увлечением говорили о полетах, о своем командире полковнике Преображенском.

Придя домой вечером, мы зажгли керосиновую лампу зеленого стекла, растопили печку-временку и так разговорились, что не заметили, как наступило утро. Мне, правда, хотелось спать, — это была вторая бессонная ночь, — но капитан Бородавка оказался таким рассказчиком, что было не до сна...

— А вот была еще история, — говорил он улыбаясь. — Наш полковник со своими товарищами, — тогда они жили в селе Волокославенском, — украли у одного старика, Федора Ивановича Суслова, его любимую дочь Шурку. Да-да, умыкнули! Шурка хотела учиться. Бойкая такая была, смелая девчонка, а старик был, ох, какой упрямый! «Хватит, — говорит, — с тебя и сельской школы».

Шурка пошла к Евгению: «Что мне делать? Ты самый смелый из наших ребят. Помоги». Евгений занимался тогда в городе Череповце, в педтехникуме. Он это и придумал. «А мы тебя украдем, — смеется. — Чего на свете не бывает. Украдем, да и все тут». И украли. Отвезли Шурку в город, пристроили учиться.

Суслов с ума сходил, не знал, что делать, где Шурку искать. Месяц старик искал, два... Потом откуда-то узнал обо всем. Затаил обиду на Преображенского. Встретились они однажды. Старик, как петух, насккивает: «Говори, куда девал мою Шурку? Говори, иначе я тебя бить буду...»

Долго они были врагами.

«Дочь мою совратил с пути, — кричал старик, — учиться выдумали!»

А Шурка тем временем выучилась. После Череповца поехала в Ленинград. Ученую степень заслужила.

...Волокославенское — старинное село. В седую старину суда шли с Волги по Шексне, по знаменитой Ковже, в озеро Николоторжское, иначе Никольский Торжок. От Никольского Торжка речные суда тянули волоком по земле пять верст в Порозовицу. Там и сейчас земля заезженная осталась, на ней и по сей день не растет ни лес, ни трава, ни дикий бурьян. Сколько столетий тянули бечеву через плечо русские мужики, запряженные в купеческие суда, плоты, груженные всякой всячиной баржи, чтобы попасть в озеро Кубенское, Сухону, а оттуда выйти на север, в Белое море. Волоком! Земля глянцевила. Пыль стояла столбом. Отсюда и название пошло родины полковника — Волокославенское. Когда спрашивают у него: «Откуда вы родом, товарищ полковник?» — он с гордостью отвечает: «Я от Николы с Волока!» Так говорят у них...

Капитан Бородавка говорил с увлечением. В его рассказах, душевных и теплых, чувствовалась большая привязанность к полковнику.

III. ПОЛКОВНИК ПРИЛЕТЕЛ

Полковник Преображенский прилетел раньше срока. Военная обстановка осложнилась, и он не стал дожидаться конца положенного отпуска.

В городе Кириллове он оставил многолюдное собрание, на которое его пригласили учащиеся. В артели «Севкустарь» его не дождались к званому обеду. И для семьи отъезд его был совершенно неожиданным. Полковник все отложил и вернулся в свою часть.

Серебристый двухместный спортивный самолет появился над аэродромом в тот момент, когда дежурные офицеры никого не ждали.

Полковник с каким-то свертком быстро вошел в комнату. Он был в унтах, в меховом реглане, с теплым шлемом в руках.

— Ну, ребята, — спросил он, — что тут у вас делается? Он осторожно положил на кровать четырехугольный

предмет, завернутый в одеяло, и тепло поздоровался со всеми.

— Все в порядке, товарищ полковник, — сказал капитан Бородавка, — только погода-то какая! Одна сестры!

— Погода и заставила меня поспешить из Кириллова, — усмехнулся полковник. — После непогоды наступит погода. Летать будем.

Полковник спросил меня, видел ли я Романенко. Я ответил, что он провожал меня.

— Иван! — с удовольствием воскликнул полковник. — Как он там?

— Привет просил передать вам. Обнять...

— Ах ты!.. — сказал полковник, покачав головой, и обнял меня вместо Романенко. — Садись, брат, обновку тебе покажу. — Он развернул привезенный сверток, и я ахнул. То был кирилловский баян ленинградской хватки, гладко покрытый вишневым лаком, искусно отделанный белым перламутром. Баян, сверкнув этой отменной красотой, как будто засмеялся.

— Ай да баян! — не удержался я. — Где же это вы, Евгений Николаевич, отхватили такой баянчик?

Полковник многозначительно сказал:

— А вы про «Севкустарь» что-нибудь слышали?

— Нет, не слышал!

— Тогда вы о баянах мало что знаете... Были у нас когда-то, в мирные времена, знаменитые баяны Мищенко, черной полировки; потом пошли смешанных цветов баяны Пашенко: ростовские, московские. От ростовских пошли трустовские концертные баяны, ну а все они повели свое начало от наших — кирилловских, волоксславенских мастеров. У нас-то ведь и изобрели баян, у нас и сделали его — и доныне наши мастера прочно удерживают мировую славу. Нигде не делают баянов так чисто, как у нас: старик Панов, старый мастер, сам сделал этот баян. А сделал-то как! Голосок к голоску приладил.

Полковник Преображенский любовно поднял баян, качнул головой и радостный, как ребенок, заиграл говорливые вологодские песни. Басовые партии переговаривались с тонкими голосами; созвучные повторы вызывали и протяжно тянули приятные русские мелодии. Ах, как хорошо!..

Частушки, девичьи припевы, веселые песни парней и свадебные кирилловские пляски разливались со звоном по всей избе и рвались на простор, на улицу.

— Старик Панов умеет сделать! — воскликнул Преображенский, широко растягивая огненный мех баяна. — Его перед войной в Берлин приглашали. Контракты всякие ему присылали. Звали в Вену, в Будапешт. Старик отказался. «Я, — говорит, — русский человек. Пускай столицей баянов останется наш славный город — Кириллов». Вот почитайте, что пишет Панов, — протянул мне бумагу полковник.

Я стал внимательно читать:

«Мы, рабочие и служащие артели «Севкустарь», клеймим позором гитлеровскую банду разбойников. Мы уверены, что наша доблестная Красная Армия и Военно-Морской Флот нанесут в ближайшее время сокрушительный удар врагам нашего народа. Победа непременно будет за нами.

От имени коллектива рабочих и служащих мы шлем вам подарок — кирилловский баян, играйте на нем повеселее. Помните, что о вас заботятся партия, правительство и весь советский народ.

Громите фашистских захватчиков, гордые соколы!

С приветом!

По поручению собрания сию бумагу подписали мастера баянов: *Панов, Захаров, Малюков*».

— Построю полк, — мечтательно сказал Преображенский, — прочту это письмо и вручу полку кирилловский баян!

— А как там Суслов живет? — спрашиваю я неожиданно.

— Федор Иванович? А вы откуда его знаете? — удивляется полковник.

— Земля слухом полнится. Крепко обидели вы старика.

— Да какая тут обида? Столько лет прошло... Он меня все звал: «Приезжай к нам в Кириллов. Героем приезжай», — такой наказ давал. Наказ его я как будто выполнил. И вот не успел заявиться в родное село, разглядеть жену Таисию Николаевну, дочку Ольгу, Вовку-заянку расцеловать, как вдруг письмо. От Федора Ивановича.

ча Суслова! Старик пронюхал, что я в Волокославенское прилетел.

Преображенский бережно достал из кармана записку старика:

«Евгений Николаевич!

К тебе большая просьба. Приходи, пожалуйста, на собрание нашего колхоза. Тебя все, в том числе и я, желают видеть, хотя бы одну минуту.

Председатель колхоза «Победа» Суслов Ф. И.»

— Пришел я в колхоз. «Ну, — говорю, — вы писали мне?» — «Писали!» — отвечает. «Ну, так вот, — говорю, — мои ордена, медали, «Золотая Звезда» — все мои заслуги. Ваше задание я выполнил. А вы, — говорю, — выполнили свои задания перед государством?»

Суслов отвечает мне: «Выполнили! Колхоз наш передовой... по сельскому Совету, а по району мы малость отстали».

Я молча схожу с трибуны.

«Постой, — говорит Суслов — куда ты?» — «А что мне делать, — отвечаю, — в таком «передовом» колхозе?.. Да вы понимаете, что говорите? Теперь война идет! Жесточайшая война! А вы „малость отстали“». — Фуражку надел — и в дверь. «Постой, Евгений Николаевич, — кричит Суслов вдогонку, — постой! Давай-ка мы разберемся толком». — «Да что тут разбираться, — говорю я. — Эх, вы! Колхоз «Победа»! Где же ваша победа?!»

Суслов почесал затылок: «С транспортом подзатерло нас малость. Запрягайте коней. Ну уж ты, Евгений Николаевич, не обижайся на нас, пожалуйста, завтра приходи к нам в гости. Поправим дело».

И правда, выправили, сдали все государственные долги. Даже хорошего лишку прихватили.

Я любовался полковником, его какой-то здоровой непосредственностью, чисто юношеской энергией.

— Вот, брат, какие у нас люди: кирилловские, волокославенские, николоторжские, — заключил полковник.

Потом мы на двух баянах играли «Московскую баярыню», украинского гопака и жалели, что с нами не было веселого украинского песенника полковника Романенко. Он бы «оторвал» здесь гопачка по всем правилам искусства.

IV. МОГУЧАЯ МАТЬ РОССИЯ!

Сегодня полковник вскочил с постели в семь часов утра и сразу, еще не одеваясь, в темноте стал крутить ручку радиоприемника.

— Говорит Ленинград! Говорит Ленинград... — густо произносит диктор.—Слушайте слово, обращенное к балтийским соколам, слово полковника Героя Советского Союза Ивана Георгиевича Романенко.

Преображенский в нижнем белье так и замер возле репродуктора.

— Иван... его голос. Ей-богу, его голос.

— «К вам мое слово, балтийские летчики!

Балтийские соколы! Герои Ханко, Кронштадта, защитники славного города Ленина, герои Родины! В суровой борьбе против озверелых нацистов вы защищаете честь и свободу нашей страны, счастье детей, жизнь народов.

Вместе со всей страной мы с восхищением следим за героическими делами москвичей. Белокаменная Москва в опасности! К сердцу родной земли немецко-фашистские орды протянули кровавые лапы. Захлебываясь и утопая в крови, они рвутся к жизненным центрам Донбасса, Крыма, Кавказа, к великому городу Ленина. Могилами и трупами они усеивают наши священные поля и, не считаясь с потерями, стремятся сломить наше упорное сопротивление.

Летчикам Краснознаменной Балтики близки и понятны героические подвиги русских, украинцев, татар, горцев, всех советских людей, не жалеющих своих жизней ради великой победы.

Защитники Москвы, Ленинграда, храбрые черноморцы, балтийцы, орлы крылатой Родины, будьте стойки, суровы к себе, беспощадны к ненавистному врагу! Уничтожайте и впредь головорезов, бейте их нещадно, не оглядываясь назад!

Части Красной Армии, сражающиеся на Ленинградском фронте, и Краснознаменный Балтфлот, все ленинградские трудящиеся наносят врагу большой урон на подступах к нашему городу. Краснознаменная Балтика воспитана на боевых революционных традициях, эти славные традиции множат и наши балтийские соколы.

Герой Советского Союза Петр Бринько, храбрый сталинский сокол, уничтожил в воздушных боях 15 вражеских самолетов.

Герой Советского Союза Алексей Антоненко уничтожил 10 самолетов врага.

Летчик Костылев сбил 7 самолетов. Орденосцы Минтин и Мартыщенко таранили фашистские самолеты в воздухе...

Только одно подразделение майора Кондратьева в воздушных боях уничтожило 86 самолетов.

Наше соединение в жестоких боях сбило уже более 220 фашистских машин, на земле разбиты сотни танков, бронемашин, цистерны с горючим. Более двадцати тысяч фашистских солдат легли от штурмовок истребителей.

Балтийские герои-соколы за эти месяцы сбили свыше 400 вражеских самолетов...

«Юнкерсы», «мессершмитты», «хенкели», «хеншели», «фокке-вульфы» тонули в Рижском, в Финском заливах, находили себе могилу на побережьях Ханко, Эзеля, Даго, на Ладого, под Кронштадтом. Они разламывались и горели в небе на подступах к Ленинграду.

Но главное еще впереди! Мы готовы к испытаниям, готовы к жестоким боям, и потому мы поклялись:

Бить врага до полного его истребления. Не жалеть своей жизни, ради матери нашей Родины. Все отдать, что может отдать человек, герой, простой летчик, чтоб цвела наша страна, чтоб поднималась и крепла могучая, многонациональная мать — Россия!

...Пока смотрят наши глаза, пока руки наши держат штурвал и нажимают гашетки пулеметов, не бывать врагу в Москве, в Ленинграде, на Украине, в Крыму и на Кавказе.

Час настал. Врагу не удастся сломить нашу силу и волю. Вперед, вооруженные люди Советской страны!

Вперед и выше, балтийские соколы!

Вперед, моряки!

Только в бою мы завоюем победу!!!»

— Здорово, Иван! Хорошо! — воскликнул полковник. — Он ведь сказал, о чем мы все сейчас думаем. Посмотри, какие он мне на днях записки с полуострова Ханко прислал. Вот люди воюют как!

Я взял записки и стал читать.

«...Мне вспоминается наш аэродром на Ханко еще до обстрелов — в свежей зелени, синей крупной сирени, белом жасмине. Упал первый снаряд, разорвался на посадочной площадке. А за ним посыпались сотни снарядов, тысячи, — шквал оружейного огня.

Но, несмотря ни на что, летчики работали круглые сутки. Им помогали прозрачные белые ночи.

Всюду — в небе, над водой, над мелкими, заросшими черным ельником островами — шли бои.

Мы просыпались на рассвете от канонады, засыпали на часок-другой под артиллерийский обстрел.

...Ханко — 22 километра в длину, 7 километров в ширину, на любом клочке земли рвутся снаряды. Бывали дни, когда бесновавшиеся фашисты выпускали по Ханко до 8000 снарядов...

...«Грозят — хорошо, сотрем в порошок», — любили мы повторять слова Маяковского.

Свист, грохот. Пронесются вырванные силою взрыва камни. Над полем клубится зеленовато-бурая дымка, сквозь которую и разглядеть что-либо трудно.

Северная сирень, пышные розы поникли под серою пылью, раздавленные обломками гранита.

Враги стреляют много, но плохо. Снаряды часто ложатся где-то в шхерах. Рвутся в воздухе, на крупной прибрежной гальке.

Наш ханковский летный отряд возглавляет капитан Белоусов¹. У него распухшие от усталости веки, воспаленные глаза. Летчики упрашивают его: «Леонид Георгиевич, поспите маленько, не то свалитесь». «Не буду, — сердито ствечает он».

Но усталость берет свое — голова в шлеме склоняется на грудь. Теперь уже летчика не разбудить, и мы переносим его на лежанку. Белоусов спит в сапогах, в шинели, не разжимая губ, бледный.

...У нас строили все — мотористы, оружейники, техники, — соревнуясь в том, чтобы обеспечить свои самолеты самым лучшим укрытием.

Лозунгом было: «Ни один снаряд, ни одна пятисотка не помешают ханковским летчикам громить врага!»

Лозунг второй: «Строить проще и крепче!»

Для летчиков неутомимый майор Ройтберг придумал

¹ Ныне Герой Советского Союза.

остроумную физзарядку: утром перед завтраком каждый приносил для укрытия своего самолета по четыре больших камня.

Когда рефуги за короткий срок были построены и самолеты стали взлетать прямо из-под земли, испытание в прочности новых ангаров взяли на себя белофинны. Но несколько снарядов, ударивших прямо по гранитным ангарам, не причинили самолетам ни малейшего вреда.

Мы разохотились, построили для себя целый подземный дворец, фундаментальное убежище для личного состава из шести комнат, с умывальником, с залом для собраний и киносеансов.

Мы не тратили время на утверждение смет, технических проектов, строили на совесть, по-русски, из рельсов, камня, песка. И когда на самой крыше нашего «дворца» разорвался шестидюймовый снаряд, находившиеся внизу летчики почувствовали лишь сотрясение.

...Шофёры рыли котлованы для своих трехтонок, сооружали подземные бензохранилища. Каменистая почва Ханко, твердая, как железо, служила нам верой и правдой.

...Наш Киселев был просто молодец! Вспоминая историю обороны Севастополя, мы его прозвали ханковским Тотлебенем.

К снарядам мы привыкли и, как опытные музыканты, по звуку могли определить калибр стреляющего орудия и примерно где разорвался снаряд. Разумеется, мы не сидели все время, как кроты, в земле.

Упрямый, непокорный, шерстистый Белоусов не может и дня прожить без полета. В любой час, на чьей угодно машине, но он должен быть в небе...

Лицо у Белоусова сожжено и словно заново склеено из кусочков, но оно не безобразно, а сурово и даже по-своему прекрасно.

Еще задолго до войны Белоусов разбился в густом снежном тумане; при посадке машины от удара вспыхнул бензин. Никто не думал, что Белоусов выживет. Но он выдержал двадцать восемь операций, произведенных в течение двух лет в Травматологическом институте. Белоусов снова летает...

Летчик выходит из кабины, его лицо забинтовано, только серые пристальные глаза поблескивают из-под очков...

Он руководит летчиками Ханко.

За четыре месяца войны по Ханко выпущено до четырехсот тысяч снарядов.

...Генерал-майор Кабанов в шутку назвал Белоусова «главным пожарником». Лето было сухое. Лес горел отлично. На 5—7 километров отделяла нас от врага обугленная пустошь.

Вот показания пленного: «Мы не знали раньше, что русские — такой упорный и злой противник. Они не только не уходят с полуострова, но еще нас преспокойно выкуривают. В последнее время единственное наше спасение в воде. На суше, на островах спастись невозможно. Леса пылают со всех концов. Густой дым и пламя гонят нас к морю. Окунемся с головой и сидим!»

...У каждого летчика есть постель, но можно сказать прямо — мы живем у самолетов. А если располагаемся спать, то так продумываем свой отдых, так раскладываем свою обувь и одежду, что она сама «обувается и одевается».

...На аэродроме Ханко большой день, сегодня слет... Нашего полку прибыло, прилетели с «Большой земли» старые товарищи — Антоненко и Бринько. Радость у нас — как в лагере папанинцев. Когда прилетали друзья, они привозили нам письма от родных и близких, московские газеты.

...Антоненко торжественно извлек из фюзеляжа букет цветов, бутылочку сливок, бутылку пива. Мы кинулись к Бринько. «А ты, Петр, что привез нам?» Он сверкнул лукаво белозубой улыбкой: «Сами посмотрите». За бронированной спинкой сидел человек. Бринько ухитрился в одноместном истребителе доставить на Ханко своего оружейника Галкина. Вот чудеса!

Но почему же никто не выходит из третьего самолета. Мы подбежали. В кабине сидел летчик, которого на Ханко считали погибшим. Четыре дня он не возвращался после воздушного боя, близкие и дальние аэродромы не давали о нем положительного ответа, у нас пропала даже самая маленькая надежда, что он вернется. Спасибо ж вам, милые Антоненко и Бринько, за ваш бесценный подарок! С ханковцами снова был живой, невредимый наш друг, летчик Кулашов!

...Новым нашим соратникам очень понравились и рефуги, и все наше подземное царство. Они необычайно бы-

стро вошли в курс дела. Когда ложились спать, китель складывали так, чтобы рукава сами просились одеться на руки, никогда не бросали парашюты как попало. Ботинки с вывернутыми язычками стояли у кровати. И Антоненко, и Бринько вылетали за 15 секунд. Другому летчику впору за это время только очки надеть. Бывало, Бринько и Антоненко не успевали зашнуровать ботинки, застегнуть китель. Взлохмаченные, в майках, без шлемов, почти босые взлетали они и сбивали врага. За ними числится уже 25 побед, 25 уничтоженных самолетов врага.

...На аэродром привезли обед, мы расставили тарелки на ящиках, стоя закусываем. И вдруг раздается зенитная стрельба. «Юнкерс-86» на высоте 2000 метров...

Антоненко обедает, но, видно, ему не терпится, он хочет в небо. «Эх... — произнес он с досадой. — Так нет же, перехитрю». И вот, оставив тарелку с дымящимся борщом, он побежал к самолету. И вылетел совсем не туда, куда шел «Юнкерс» и сопровождавшая его наша свита. Через несколько минут пост передал, что «Юнкерс» сбит над островом Наргенон. Все думали, что фашиста сбил Байсултанов, погнавшийся за ним первый, а на самом деле его уничтожил Антоненко, который вышел на охоту последний, а вернулся первый. Когда прилетел, от волнения он дрожал. Мы кинулись поздравлять его с победой, а Антоненко подошел к своему ящику и стал доедать не успевший еще остыть борщ.

Из-под обломков «Юнкерса» вытащили обгоревшие трупы. В одном из послужных списков прочли — Испания, Англия, Франция, Польша, Норвегия, Бельгия и последняя вежа, которую вписали наши пулеметы, — Ханко!

Розовый картонный билетик: «Рю де Колонь, мадам Поль, восемнадцатое апреля 1941 года» — это была дата посещения радистом Генрихом Крутом парижского публичного дома.

Любопытная деталь: «Юнкерс-86», сбитый Антоненко, был выпущен берлинским авиационным заводом 20 мая 1941 года.

Мы хохотали до слез, читая «Ответ ханковцев Маннергейму».

Бойцы на передних позициях услышали, как из огромных радиорупоров врага несется не поток брани, а подлая лесь. Барон Маннергейм скулил: «Смелые за-

щитники Ханко, сдавайтесь в плен». Наши артиллеристы первым делом расстреляли фашистскую громкоговорильную, потом гарнизон Ханко составил ответное письмо барону:

«Тебе шлем мы ответное слово. Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести — пригласил к себе в плен. В своем обращении, вместо обычной брани, ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханко.

Хитро загнул, старче!

Но мы народ не из нежных, и этим нас не возьмешь. Зря язык утруждаешь. Ну, хоть потешил нас, и на этом спасибо тебе, шут гороховый...

Короток наш разговор, — заканчивалось письмо гангутцев: — сунешься с моря — ответим морем свинца, сунешься с земли — взлетишь на воздух. Сунешься с воздуха — вгоним в землю.

До встречи, барон!

Месяц октябрь, число десятое, год 1941.

Гарнизон Советского Ханко».

V. „МЕТРОПОЛИТЕНЫ“ В ДЕРЕВНЕ

Утреннюю побудку под звуки баяна произвел полковник Преображенский. Но раньше полковника поднялся все-таки хозяйский Колька. Он поливал нам из кружки ледяную воду, когда мы умывались на улице.

Пришел лейтенант Борзов, стройный молодой летчик с карими глазами. Он просил разрешения побывать в соседнем селе на встрече с колхозниками.

— Куда же вы пойдете в таком виде? Китель ваш стар и мал.

— Китель на мне чужой, товарищ полковник, — сказал Борзов. — Это мне техник Калинин дал. Мой китель сгорел, когда меня сбили. А рост у техника Калинина, действительно, маловат.

— Знаю. И брюки у вас старые, совсем малы вам...

— Брюки скоро пошьют.

— А почему раньше не пошили?

— Работы в мастерских много... Материал еще не поступил.

— Кто вам сказал? — строго спросил полковник.

— Интендант третьего ранга Милицин.

— Идите сейчас же в мастерские и скажите этому лентяю Милицину: если он за три дня не сошьет китель и брюки, то я посажу его на гауптвахту!

— Есть! — коротко сказал Борзов, повернулся и вышел.

Я заметил, что Борзов был чем-то угнетен. Это чувствовалось в его движениях, видно было на усталом лице. Я спросил Преображенского:

— Что с ним?

Полковник пристально посмотрел на меня, остановился посредине комнаты.

— Тяжелая тут, брат, история! — горестно покачал он головой. — А летчик-то какой?! Мировой! Даром что молод. Беда у него. Когда-нибудь поговорим об этом, а сейчас пойдем на аэродром.

Мы вышли из теплого дома и пошли через разбросанное село к аэродрому.

Капитан Бородавка сидел в штабе над развернутыми военными картами. Он встал и отапортовал полковнику.

Начальник штаба — должность серьезная. Хлопот у капитана Бородавки очень много. Но он без всякой суеты, спокойно и быстро исполняет свою работу.

«У нашего начштаба, — говорят летчики, — олимпийское спокойствие».

Выдержка, подтянутость, четкая командирская организованность — всюду.

Стол, за которым работает начштаба Бородавка, комната, в которой он живет, штаб, где он проводит большую часть своего времени, всегда и при любых обстоятельствах были безупречно чисты. Там, где капитан Бородавка, присутствует культура.

— Продолжайте работать, — сказал полковник. Минуту он постоял у карты, уточняя линии ближних фронтов, проверил дежурных, службу связи, которая помещалась здесь же, за перегородкой, отдал распоряжения по эскадрильям о подготовке самолетов к вылету. Затем мы направились во 2-ю эскадрилью.

Мороз крепчал, пощипывал лицо. Снежок с инеем срывался с деревьев.

— Здесь у нас новый, самый глубокий дот, электростанция, мастерские, посты скрытой связи — одним словом, метрополитен!

«Метрополитен», по-видимому, существовал только в воображении полковника: на том месте, на которое он указал, кроме глубокого снега да торчавшей из него едва заметной почерневшей трубы, ничего не было. Даже когда мы подошли ближе, мне и в голову не приходило, что здесь действительно выстроен «метрополитен», подземный дом, полное законченное сооружение.

Мы спустились по чистеньким дощатым ступенькам вниз. Узкий коридор, ловко обшитый досками, вел внутрь.

— Здесь у нас, как видите, столовая. Здесь ленинский уголок. Кинозал. Вот мастерские. Читальня...

«Метрополитен», освещенный небольшими яркими электрическими лампочками, ждал своих обитателей. Они должны были переселиться сюда завтра.

— Были у нас в свое время, — тихо сказал полковник, — «горячие головы», которые отрицали такое строительство, прикрываясь лозунгом «презрения к смерти». Такое «презрение к смерти» — самоубийство. Стоило оно нам многих человеческих жизней. А жизнь каждого человека всегда надо беречь!

Вскоре я убедился, что это не фраза, что Преображенскому человек дорог.

Через день или два, когда мы были дома, раздался звонок. К телефону подошел полковник.

— Борзову создайте все необходимые условия, — сказал он, — Борзов должен быть здоров. Да! Учтите, товарищ Бородавка: Борзов готовится к серьезному полету.

Полковник, не торопясь, повесил трубку, закурил.

— Борзов заболел, а ему лететь скоро, — сказал полковник. — Он должен выполнить одно очень важное задание.

Полковник позвонил военному врачу:

— Товарищ Баландин! Сделайте так, чтобы Борзов завтра же был здоров. Сходите к нему.

Полковник повесил трубку и снова позвонил командир у базы:

— Товарищ Свирин, у нас Борзов заболел. Знаешь? Есть ли у него теплое белье? Сошьют ли ему китель, брюки?.. Этот Милицин мне что-то не нравится. Проследи. Борзова надо поставить на ноги в кратчайший срок. У него приказ на вылет.

Я внимательно прислушивался к его распоряжениям.

Преображенский взглянул на меня и раздумчиво заговорил:

— История с Борзовым очень сложна. Он допустил лихачество в воздухе и повредил самолет. Его проступок граничит с большим преступлением. А какой это замечательный летчик! Сейчас он мучается... Ему надо помочь, укрепить его волю, снять с него позор. Он ведь преданный сын Родины.

— А он доказал это?

— Да, доказал, — голос полковника окреп, — дрался в воздухе, как дерутся у нас самые храбрые люди... Шел на боевые задания и над облаками, и в тумане, и в густую, темную ночь. Его машина всегда была там, где находился враг, уничтожала врага. Этот человек бесстрашен...

Полковник подошел ко мне и заговорил быстро, словно хотел сказать за минуту все, что думал о Борзове:

— Я люблю его, как сына. Это умный, незаурядный летчик, и правительство не ошиблось, наградив его двумя орденами Красного Знамени. Но и военный трибунал не ошибся, осудив его. И теперь у него бумага в кармане: «лишение свободы сроком на десять лет». Это ли не пятно, не позор?

— А вы не ходатайствовали о пересмотре его дела? — спросил я.

— Ходатайствовал. Из штаба Военно-Воздушных Сил писали. Пока все тихо. Но я больше чем уверен...

Полковник закурил, подошел к окну, долго и задумчиво смотрел, как катались на санках деревенские ребята.

Резко повернувшись, он сказал:

— Борзов, я в этом убежден, будет освобожден от наказания. Он давно заслужил прощение и снятие приговора. У нас в полку все любят Борзова и понимают, что он настоящий человек.

Пришел военный врач Баландин. Он был огорчен.

— Лейтенант Борзов серьезно болен, — сказал он. — К полету не готов.

— Плохо, — нахмурился полковник. — Кроме него на это задание я никого послать не могу.

Вошел сам Борзов. Он едва стоял. Его язно температуры, щеки жег жаркий румянец.

— Разрешите, товарищ полковник, доложить...

— Докладывайте.

— К полету я готов.

— Но вот врач говорит другое. Дней пять вам придется полежать.

Борзов молчал. Он был явно недоволен присутствием врача.

— Если вы хотите лететь, приказываю вам, товарищ лейтенант, идти домой и приступить к срочному лечению. Лежать надо! Лежать, а не разгуливать.

— Есть лежать, — вяло сказал Борзов и попросил разрешения идти. За ним, вобрав шею в плечи, вышел врач Баландин.

...День уже был на исходе. Густой-густой туман поплыл над селом, над черным мгlistым лесом, над узкой рекой Мологой. Мелкая, промозглая туманная морозь, словно весенний дождик, опускалась на снег и пожирала его.

Полковник писал доклад.

Знакомый гул моторов, далекий и протяжный, донесся к нам. Мы кинулись к окну.

— Кто бы это мог быть? — прислушиваясь, сказал полковник. Самолет гудел, но его не было видно. Мы оделись и на «козле» помчались на аэродром. Белый самолет кружился в воздухе. Вскоре, определив место, он пошел на посадку. Сел благополучно. Низкорослый, коренастый крепыш, со смеющимся широким лицом, похожий на бурого медвежонка, вылез из кабины.

— Товарищ полковник, по заданию командования флота прибыл майор Дроздов. Радость вам привез. Вот!

Дроздов расплылся в радостной улыбке и протянул полковнику пакет. Преображенский, разорвав пакет, долго читал продолговатый листок папиросной бумаги. Он свертывал его, клал в карман, а потом снова вынимал и читал. Ни я, ни Дроздов ничего не знали. Нас разбирало любопытство.

— К Борзову, — сказал полковник. Мы сели в машину и поехали к дому, где жил Борзов.

Лейтенант лежал в постели. Возле него сидел Баландин и размешивал лекарства. На столике перед Борзовым лежали новенький морской китель с блестящими пуговицами и морские брюки. Борзов, увидев в дверях полковника, вскочил:

— Лежите, — сказал полковник, — лежите спокойно!

— Разрешите встать.

— Ну встаньте.

Борзов поднялся и быстро оделся. Китель сидел на нем очень хорошо. Заметно выделялся беленький рубчик воротничка. Брюки были аккуратно разглажены. В комнату вошли командиры всех трех эскадрилий. Преображенский стал по команде «смирно».

Борзов ничего не понимал.

— Так вот, — радостно сказал полковник и начал читать:

«Военный трибунал Краснознаменного Балтийского флота в составе: председателя диввоенюриста... членов: диввоенюриста... бригадного комиссара... рассмотрев от 12 ноября 1941 года ходатайство командования ВВС КБФ об освобождении от наказания помощника командира эскадрильи 1-го авиаполка лейтенанта Борзова Ивана Ивановича, осужденного приговором ВТ Ленвоенморгарнизона от 13 сентября 1941 года по ст. 193, 17 «а» УК РСФСР к лишению свободы сроком на десять лет без поражения прав с отсрочкой исполнения приговора в порядке примечания к ст. УК РСФСР, и заслушав доклад, заключение пом. военного прокурора КФБ военного юриста 1-го ранга...»

Борзов стоял, словно каменный. Ни один мускул, ни одна жилка не дрогнули на его бледном лице. Отрешенный от всего постороннего, забыв все, он слушал.

«Определил:

...Учитывая, что по сообщению командования ВВС КБФ, Борзов после осуждения его Военным трибуналом показал себя самоотверженным бойцом с фашизмом, отлично выполнял задания командования по борьбе с вражескими войсками и тем самым проявил себя стойким и преданным защитником Родины...»

Борзов потянулся к бумаге, заглянул в нее.

«...освободить Борзова от отбывания назначенной ВТ меры наказания и считать судимость с него снятой.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно статист ВТ Игнатьев».

Все командиры облегченно вздохнули. Преображен-

ский скомандовал «вольно», но высокий и худой Борзов, как в забытии, все еще стоял «смирно». Он не находил слов, чтобы выразить свою радость.

VI. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МОЛОКОВ

Полковник Преображенский не любил говорить о себе, и если рассказывал, то скупое. По его словам, он никогда не собирался стать военным летчиком.

Жил он в мирном городке Череповце, учился в педтехникуме, готовился стать сельским учителем.

В техникуме он занялся военной работой. Ребята стреляли из мелкокалиберных винтовок, ходили в комсомольские походы. Многие из них мечтали об авиации, хотя даже не видели самолета.

Вскоре в Череповце появился самолет. Евгений Преображенский лежал тогда в больнице. Чего бы он не отдал в ту пору, чтобы постоять рядом с самолетом, руками его потрогать!

Потом пришли нормы вербовки в авиацию. А Евгений все еще был в больнице. Лежал и горевал, что все места порасхватывают и он, военный работник, ни с чем останется. Везет же!

Евгений поторопился выписаться. Сразу пришел в горком комсомола. Секретарь его спрашивает:

— Норму ты выполнил, товарищ Преображенский?

— Какую норму?

— Вербовочную. В Красный Воздушный флот!

— Не выполнил, — отвечает он. — Я только из больницы.

— Завтра же подавай мне пять «летчиков». Да чтобы ребята были надежные — орлы!

Сел Преображенский на краешек стула, попросил лист бумаги, перо и тут же составил коротенький список. Себя включил, дружка своего Арцыменю, Мишку Цепелева, Митьку Ражева, Осорьева Ваньку.

Приехали ребята в областной город, а там комиссии-подкомиссии всех забраковали, один Преображенский остался в списке.

Так определилась его судьба.

Но с этого дня до самостоятельного полета прошло много лет. Целая жизнь,

Инструктор авиационной школы товарищ Магон, у которого занимался Преображенский, был живой, вихрастый смельчак. Хорошо с ним было летать над сушей, над морем, над чудесным старинным городом Севастополем, над входящей в город бухтой, над Малаховым курганом, над севастопольскими бастионами, над древней крепостью, стоявшей на горе, над степными и горными просторами, где русские солдаты дрались за славу, за честь, за Родину.

Казалось, что там, внизу, еще порох в старинных запалах дымится, еще ядра курятся, пролетают с грохотом над заливом...

Русская слава осталась здесь жить вечно...

И вот пришел первый самостоятельный полет.

— Евгений, знай, — сказал инструктор Магон в тот далекий день, — я волнуюсь сегодня не за тебя, не за себя, а за жизнь твою. Она дана тебе не зря. Ты будешь хорошим летчиком. Волнуюсь я от радости. Поднимешься ты над городом и на высоте поймешь, какое счастье летать и все видеть! Пойми, мой друг, какая в этом сила!

Преображенский понял эту силу.

На аэродром пришел командир отряда Василий Молоков. На поясе у него пристегнут летный шлем. Глаза спокойные и сам спокоен.

— Кто сегодня в самостоятельный полет идет?

— Пилот Преображенский, — доложил Магон, волнуясь, и четко взял под козырек.

Молоков внимательно посмотрел на Евгения, взглянул на небо, прищурился.

— Лететь, — сказал он тихим голосом, — лететь! Глаза у летчика хорошие, надежные глаза.

Василий Иванович всегда читал по глазам: готов к полету или не готов... У того, кто в себе уверен, глаза хорошие, вперед глядят. Кто не готов, прячет их, смотрит вниз, украдкой. Глаза его мелькают, как огоньки, бегают — всё что-то ищут.

Но «дядя Вася», так все звали Молокова, контрольный полет делает с летчиком. Сядет в самолет. Молчит. Пилот ведет машину. Молоков молчит. Не вмешивается. Вниз смотрит, вверх, скользит глазами. На крылья самолета глянет, приборы проверяет. И хоть бы слово! Что хочешь, то и делай. Когда на землю сядет — шлем к поясу пристегнет и если улыбнется, значит, все в по-

рядке. «Пойдет в самостоятельный... — скажет. — На старт!»

К плоскостям самолета флажки красные привешивают, снаряжают самолет, как будто невесту. Все знают, что сегодня в семье воздушной прибавится еще один летчик. И все ему — и старые воздушные корабли, и молодые летчики — должны в этот день уступать дорогу в воздухе. Он именинник!

Три раза взлетал и садился Преображенский. Потом подошел к командиру.

— Отлично! Желаю счастья, — сказал Молоков и дружелюбно протянул свою теплую руку Евгению Преображенскому. Молодой летчик с жадностью схватил ее и словно по сей день крепко держит.

— Спасибо! — взволнованно сказал Преображенский. — Большое спасибо вам, Василий Иванович. Спасибо вам, товарищ Магон. Вы подняли меня в небо. Я не забуду вас. Я знаю — теперь я летчик!

Полковник рассказал все это скупو, отрывочно.

VII. ДВА СЛУЧАЯ, О КОТОРЫХ НЕ УПОМИНАЕТСЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

— Если бы описать все случаи, которые происходят в воздухе, — сказал мне однажды полковник, — то можно было бы создать для наших подростков увлекательную книгу и она читалась бы не хуже знаменитых романов Жюль Верна, Майн Рида, Марка Твена. Ну как можно забыть вот такую, например, историю?

...Это было совсем недавно. Молодой летчик Драпов, только что вступивший кандидатом в члены Коммунистической партии, получил от меня задание. Задание было, скажу честно, сложное. В местечке возле одной узловой железнодорожной станции прорвалась крупная группа немецких танков. Возникла опасность отрыва наших частей и эшелонов от главных боевых баз.

Самолеты бомбардировочной авиации работали тогда в глубоком тылу врага, и на аэродроме оставалось только одно дежурное звено. А между тем прорыв немецких войск во что бы то ни стало, как приказали нам, надо было ликвидировать.

«Давайте самолеты! — потребовал командующий. — Время не ждет!»

Других средств для уничтожения врага в ту минуту не оказалось. Нужно было послать хотя бы один самолет.

Кого? Кто может умереть, но выполнить задание?

Выбора не было. На аэродроме оставался Драпов, совсем молодой летчик, Лактюхин — штурман не из сильных и стрелок-радист Лукашов.

Я вызвал их.

Драпов пришел. Стоит, молчит, ждет, что я скажу. Лактюхин тоже молчит.

— Товарищ Лукашов, — обратился я к стрелку-радисту, — долг перед Родиной призвал вас сюда.

— Куда идти? — спросил Лукашов. — Мы готовы! Вы не сомневайтесь в нас.

— Вам придется сегодня серьезно драться... Но вы, я знаю это очень хорошо, не дрогнув, примете решение и, прежде чем погибнуть, развеете врага в пепел!

— Точно, — спокойно произнес штурман, переминаясь с ноги на ногу. — За нами дело не станет.

— Не сомневайтесь, товарищ полковник, — горячо заявил всегда веселый, а теперь посерьезневший Драпов.

Мне оставалось только сказать:

— На старт!

Они, не теряя времени, быстро поднялись в воздух и взяли указанное направление. Бомб с собой они набрали много. Даже на руки взяли бомбы.

Я разрешил им сделать это. И не скрою, я был уверен: они шли на смерть!

Самолет еще не успел дойти до цели, как его атаковали шесть «Мессершмиттов». Летчики радировали: «Деремся в воздухе!»

Потом сообщили, что сбили один самолет врага. Прошло еще пять минут. Радируют: «Падает другой самолет, горит!» Потом: «Сбит третий! Четвертый!»

Но после этого связь с самолетом вдруг прекратилась.

«Нет, — думаю, — не дошли они до цели. Приказ мои ребята не выполнили. Что же делать?»

Я посылаю разведчика. Разведчик вскоре доложил: «Пятый самолет противника, обьятый пламенем, падает в болото. Бомбардировщик Драпова кружится и отбивается. Самолет их сильно качнулся. Идет носом вниз!»

Дело жуткое — подбит. Черт побери! Радируют: «Тросы

управления перебиты». А судя по всему, еще ни одна бомба не упала на вражеские танки, — танки ползли вперед.

Оборванные тросы обвисли в кабине радиста Лукашова. Лукашов понял, что пилот не может больше управлять самолетом. Все управление теперь в его кабине. И он, этот смельчак, решил намотать порванные тросы себе на руки! Он дал знать об этом летчику и просил подавать ему команду.

Радист стал пилотом. Самолет Драпова летел в сплошных разрывах зенитных снарядов, в густых полозах крупнокалиберных пулеметных очередей, среди моря осколков. У Драпова рассечено лицо, плоскости самолета прострелены, пробито хвостовое оперение... Этот случай может показаться невероятным. А между тем Драпов командовал Лукашова: «Влево!» Лукашов разворачивался влево и шел на цель. «Вправо!» — командовал Драпов. Лукашов тянул трос, поворачивал вправо. Самолет повиновался, конечно, с большим трудом. Он нервно вздрагивал, завывал, но все-таки повиновался!

— Бомбы! — войдя в азарт, кричал штурман Лактюхин, нажимая на бомбосбрасыватели, и из раскрывшихся люков точно на цель летели бомбы. На земле взлетали танки, переворачивались горящие автомобили, с грохотом рвались боеприпасы. Огонь и дым над дорогой поднялись высоко вверх.

— Бомбы! — кричал Лактюхин. — Бомбы!

Герои рассеяли колонну танков. Много вражеских машин они превратили в обломки. Изнемогая от усталости и боли, теряя силы, но крепко веря в победу, которая им все-таки улыбнулась, они вернулись домой, и Драпов доложил:

— Товарищ командир, задача, поставленная вами, выполнена!

А чего стоит другой случай!..

Летчик Князев в бою над Ладожским озером истратил все патроны. Настиг врага, а стрелять нечем. Враг удирал. Он тоже израсходовал боезапас и тоже не стрелял. Князев подошел к вражескому самолету вплотную. Таранить? Нет! Он достал из кобуры наган, прицелился тщательно и выстрелил. Немецкий летчик видел это. Они шли почти рядом, на расстоянии пистолетного выстрела.

Князев промахнулся. Тогда он взвел курок еще раз. Нацелился, выстрелил и... снова промахнулся.

Фашистский летчик голову пригнул за козырек и жмет, жмет на все педали. Удрать захотел. Бросается то влево, то вправо. И Князев идет за ним — влево и вправо. Фашист бросился вниз! И Князев за ним, вниз! Фашист — вверх! И Князев — вверх! Опять прицеливается, подходит поближе.

Немец тянет Князева на свою территорию. «Шалишь, не уйдешь. Еще истрачу патрон», — говорит Князев. Надавил курок: «Если я не убью тебя, фашиста, то хотя вдоволь настрашаю!»

Снова выстрел. И новенькая машина, как глыба, перевернулась, клюнула вверх носом, рванула как-то на спину и полетела к земле.

Атака полностью удалась!

Если сказать кому-либо об этом, опять же не поверят! Но это сделал летчик, простой летчик Князев из бригады Ивана Георгиевича Романенко.

Когда-нибудь можно будет так написать: «Редкий случай в воздухе! Из пистолета — по самолету. Немецкий летчик убит. Самолет его уничтожен».

Да, много бывает разных историй в воздухе...

VIII. ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ В ВОЗДУХЕ

— Вот вы рассказывали мне о подвиге Драпова, о Князеве, а у вас, Евгений Николаевич, бывали подобные случаи в воздухе? — спросил я.

— Нет, у меня не было, — сказал полковник. — Я много лет летаю, полмиллиона километров, пожалуй, налетал, но особо выдающихся случаев у меня не было.

Поразмыслив немного, полковник добавил:

— Нет, кажись, вру. Была однажды у меня нелепая история.

Летел я на стареньком самолете «Р-6». Самолет тот уже тогда устарел, поизносился. Летел я с Челноковым. Он теперь далеко шагнул — командир эскадрильи дьяволов! На «Илах» летает Николай Васильевич. Дела такие делает... чертям страшно!

Так вот, на аэродроме техники нам сказали: «Самолет ваш в порядке. Можно лететь». Мы сели и поднялись. Летим над городом. Все нормально. И вдруг мой самолет клюнул и носом вверх полез. Затем он, не прошло и секунды, стал валиться на левое крыло. Я схватил руль высоты. Руль не действует. Кувыркаюсь, падаю на землю. Земля близко. Земля, как шар, вертится. Сейчас разобьюсь!

Мне стало жалко Челнокова, товарищ хороший. Снова хватаюсь за руль. Жму на себя. Напрасно! Все кончено! Слышу удар о землю!

Больше я ничего не помню. Очнулся, подумал: «Что же это со мной случилось, как будто упал, ударился, но не ушибся. А где Челноков?» Кричу:

— Челноков! Челноков! Ты жив?

Челноков не отвечает мне. Значит, убит. Я повторяю:

— Челноков! Челноков, ты жив? Ну, отзовись же!

Челноков — ни звука. Из кабины пробую вылезти — не получается. Но все-таки пытаюсь. Наконец, вылезаю. Вижу, Челноков лежит возле разбитого самолета в крови, почти не дышит.

К самолету подбежали какие-то люди с брезентовыми носилками. Я гляжу на них, и зло меня разбирает:

«Чего, дескать, вы с носилками здесь кружитесь? Что вам нужно? Идите к черту отсюда!..»

Люди молчат. Берут меня осторожно за руки и стараются тихо уложить на носилки. «Нет, — думаю, — напрасно вы трудитесь. Меня на носилки класть нечего! Ни в коем случае не лягу!»

— Если вы хотите меня брать на носилки, то тогда что же вы будете делать с Челноковым? Смотрите, вот Челноков лежит. Он еле дышит!

Они смотрят на Челнокова и молчат.

— Он что, убит? — спрашиваю я, затаив дыхание.

— Убит, — отвечает мне остроносая девчонка в длинном халате.

— Тогда я никуда отсюда не пойду. Останусь здесь, возле убитого.

— Нет, — говорит она, — он жив.

— Так несите его скорее в больницу. А я на носилки не лягу, пока не найду причину, из-за которой мы разбились.

Но они привязались ко мне:

— Ложитесь, вам говорят, — и все тут...

Челноков приоткрыл глаза. Пить попросил. Попил и опять закрыл глаза.

Взяли Челнокова на носилки и понесли. Возле меня осталась эта остроносая девчонка с белыми волосами, поглядывает на меня и что-то, я вижу, неладно вздрагивает.

— Что вы, — говорю, — дрожите? Озябли?

— Нет, не озябла, — отвечает. — Мне страшно за вас. Пожалуйста, скорее пойдемте в госпиталь. Вы посмотрите на себя. Ведь вы разбились совсем.

Она на этом не успокоилась. Хватает меня за руку и так по-детски говорит:

— Товарищ летчик, пойдемте скорее в госпиталь, ради бога. Вы так сильно разбились, так разбились, что я боюсь за вас... Я же отвечаю за вашу жизнь.

— Миленькая, пойми ты меня. Причину вот выясню, тогда пойду в госпиталь.

Ковыряюсь, лазаю по обломкам самолета, а сам про врача очень плохо думаю: «Молодо, мол, да зелено! Видно, впервые с разбитыми летчиками девчонка дело имеет». Думаю я так, ковыряюсь и как-то нечаянно сплюнул. Зуб и полетел в сторону. Сплюнул в другой раз — другой зуб вылетел. Сплюнул в третий раз — и третий упал. «Довольно, брат Евгений, плевать, — сам себе говорю, — а то все зубы выплюешь и есть нечем будет». Провожу рукой по лицу — вся ладонь в крови. За нос хватаюсь — не нащупывается. Вот тебе раз: носа почти нет, плохо дело. Взялся за ухо, и ухо в крови. Батенька ты мой! Разбился что надо — порядком. Бело-волосая девчонка права оказалась.

Нашел, наконец, причину. Оказывается, техник, найдя порванные тросы руля глубины, соединил их проволокой, а спать-то и позабыл.

— Вот что, — говорю я девчонке-врачу, — ведите теперь меня в тот госпиталь, куда вы понесли Челнокова.

Иду, а меня начинает знобить и качает из стороны в сторону.

— Давайте на носилки ложитесь, товарищ летчик. Я в конце концов не позволю, — вдруг заговорила она начальническим тоном, — чтобы раненые свои порядки нам, медицинским работникам, устанавливали...

Я подчинился, лег на носилки. Боли никакой не чувствовал. а глаза почему-то сами закрывались. Мысль тогда одна в голове — Челноков! Что с ним?

В госпитале установили диагноз: у Челнокова, предположительно, сломано два ребра, вывих руки, перелом ноги, разбит лоб, порвана на груди кожа. У меня треснула верхняя челюсть. В четырех местах предположили незначительные трещины нижней челюсти, сломана правая ключица, переломлена правая нога, глубоко пропорот висок, полная отечность левого глаза. А боли никакой...

Я, еще когда упал, подумал: «Упал и не ушибся», — а в больнице подумал другое: «Ушибся, но почему-то не больно».

Несколько дней спустя выяснились еще кое-какие мелкие поломки костей.

Лежу на операционном. Слышу — о чем-то врачи шепчутся. Столпились возле меня в белых халатах, в резиновых перчатках, с какими-то металлическими штуками. Один говорит:

— Под хлороформом операцию делаем...

А я говорю:

— Не буду. Так делайте. Мне не больно.

Другой говорит:

— Руку...все-таки придется .. придется ампу...

— Я вам дам руку, — кричу. — Лечить будете руку! Отрезать руку всякий дурак сумеет.

Шепчутся, а я никак не могу уловить, о чем они говорят. Приподнимаю голову. Смотрят на меня, молчат. Кладу тяжелую голову на резиновую подушку, а она почему-то совсем не надута.

— Глаз... глаз... — слышу, — нужно немедленно удалить.

— Да что вы, с ума сошли! — не выдержал я. — Глаз удалить! Осталось еще ноги отпилить, голову бритвой подправить, и все в порядке. Какой же я летчик без рук да без глаз! Ишь вы, хирурги, собрались! Я — летчик. Понимаете?

— Успокойтесь, товарищ больной, успокойтесь. Мы ведем врачебный консилиум, — сказал старый бородатый врач и укоризненно поглядел на меня поверх очков. — Мы думаем сделать для вас же лучше...

Я бы, конечно, вскочил и ушел, но меня крепко дер-

жал за плечи какой-то здоровенный дядька. Я его прозвал Консилиумом.

Врачи заспорили между собой.

Один говорит:

— Не будем глаз трогать.

А другой — старик в очках — стоит на сзѐм.

— Если, — говорит он, — мы всякий раз будем вести дискуссии с больными, то что получится? Вы понимаете, не удалив этого глаза, мы вынуждены будем потом удалить оба сразу. Здесь всегда действует установившаяся закономерность.

Тогда молодой врач, та самая беловолосая девчонка, говорит:

— Я настаиваю на том, чтобы немедленно пригласить сюда специалиста-глазника.

Тут я ожил.

— Давайте специалиста, — говорю. — Глаза на дороге не валяются.

Руку мою взяли в шину. Нарастили нос. Забинтовали. Нос по кусочкам складывали. Хрящик к хрящику. Глаза забинтовали. Примочки сделали. Ноги вставили в железные прутья. Грудь перевязали, поврежденную кисть руки потуже бинтами перехватили, и тот же здоровенный дядька Консилиум, который стоял сзади меня у столика, повез меня на колясочке с резиновыми шинами в палату.

— Везите меня к Челнокову, — говорю я ему.

— К Челнокову нельзя. Он накануне серьезной горячки, может помешательство быть. С ним говорить опасно.

— Везите к Челнокову!

И настоял на своем. Меня положили в одну палату с Челноковым. Он лежал неподвижно, и я боялся за него.

Утром пришел специалист-глазник, какой-то знаменитый профессор. Он посмотрел и важно сказал:

— Глаз вынимать нельзя. Глаз отойдет сам по себе. Ушиб! Лечить надо!..

Жена моя, Таисия Николаевна, ходила последние недели Володей. Она не должна была знать об этой аварии. Я попросил своих товарищей сказать, что я улетел в командировку в Москву за самолетами.

Я писал ей нежные письма из «Москвы». Наши летчики отвозили их в настоящую Москву, там бросали в почтовый ящик, и на третий день они приходили по адресу как полагается со штампом, числом и месяцем.

Все это было ловко придумано. Тася, бедняга, ничего не зная, открывала эти короткие письма, читала их и не догадывалась, что я лежу здесь же, рядом с нашим маленьким домом, в пропахшем лекарствами госпитале.

«Жив, здоров! — лаконично писал я Тасе. — Милая, скоро вернусь из командировки. Мы поедем с тобой после твоих родов за город. Обо мне не беспокойся. Твой Евгений».

Семнадцать дней я пролежал. Вернулся домой, когда Тасю уже отвезли в больницу. Врачи эти — настоящие чудесники. В два счета хотели лишить меня глаза, а тут такие чудеса сотворили со мной, что не подкопаться к ним.

Когда Тася вернулась из больницы, она ничего не заметила, и только потом — шли мы с ней как-то по улице — она остановилась и стала всматриваться в меня.

— Евгений, — говорит, — что с твоим лицом? Переменилось оно как-то.

— Да что ты, Тася! Никакой перемены на моем лице нет. Это тебе просто показалось.

— Да нет, — говорит, — что-то с носом у тебя неладно. Скажи мне, что случилось?

— Нос, — отвечаю, — действительно немного не в порядке. В хоккей играл. Ребята нечаянно ударили. Помнишь, был такой случай.

— Перестал бы ты в этот хоккей играть. Тебе за тридцать, а ты все в хоккей!

— Хорошо, Тасенька, хорошо, не буду больше.

Она поверила. Я же выгадывал время и тихонечко бегал в госпиталь: лечение мое еще продолжалось. Конфуз только один вышел. И всё из-за моей спешки. На правом плече, куда мне сделали наращивание, прирос лишний кусок мяса. Рука из-за этого не стала подниматься. Тася не могла не заметить этого.

— Что у тебя с рукой?

Я больше не стал скрывать от нее и рассказал, как дело было. Она только руками всплескивала, но волноваться ей не пришлось.

А у меня опять беда. Врачи не позволили мне летать. Они сказали: «Или новую операцию руки делать, или идти в Сеченовский институт для трудного, но верного лечения».

Пошел в Сеченовский. И там другой здоровенный дядька Консилиум стал упражняться с моей рукой. Как

схватит да как дернет ее назад — я едва не падаю в обморок. Рука стала нормальной. Но летать мне не дают. «Отдыхайте» — говорят. Я объявил: «В столовую ходить не буду! Жалованья получать не буду! С постели не встану до тех пор, пока не напишете мне бумагу: «Годен к полетам»! Так все и сделал. Злой был.

На другой день ко мне прилетел командир бригады:

— В чем дело, товарищ Преображенский? Вы что, голодовку объявили?

— Объявил!

— А почему?

— Да потому, товарищ командир бригады, что мне не дают летать. Не могу я без конца лечиться. Челноков на что крепче меня разбился, и то давным-давно летает. А я...

— Но вы чувствуете себя хорошо? Вы убеждены в том, что вы здоровы и можете летать? — спросил командир бригады.

— Убежден. Я могу летать.

— Летайте на здоровье, — сказал он, — верю вам и дам об этом приказ.

Тогда я поднялся, пообедал, пошел на аэродром и с таким удовольствием полегал, как будто сто лег в воздухе не был.

IX. НАША РУССКАЯ БАНЯ

То, что написано в этой главе, рассказал мне краснофлотец-связист Васильев.

— Давно, с седых времен, повелось считать, что русская простая баня — самая лучшая баня в мире. Кто бы ни приезжал в Россию — величайший ли посол, поверенный ли в делах, титулованный ли король — первым делом после вручения своих верительных грамот спрашивал: «А как у вас насчет попариться?» — «Эй, Прощка, — кричал сиятельный человек при царском дворе банщику. — топить баню! Да чтоб у тебя баня была покрепче, с парком, со щелоком, с нагаром».

«Вот это русская банька! Вот это да!» — говорили гости в один голос после того, как им подавали крепкую брагу, соленый квасок, рассол из-под огурцов. Приезжали они потом на свою родину и начинали строить там свои бани по русскому образцу и обычаю. Индийские, китайские, турецкие, испанские...

Один итальянский путешественник XII века, по имени Андрей, вернувшись из России в Италию, читал там лекции, писал стихи и трактаты о русских банях.

Русский человек по натуре своей — человек чистоты! Он не терпит вшивости, грязи, тело свое он всегда держит свежим, бодрым, здоровым. И потому крепче русских людей не знает мир.

Где бы ни находился наш русский человек: на Северном полюсе, в далекой ли чужой стране, в пустынной ли степи — он все равно первым долгом построит себе баню, найдет место и время вымыться.

Фашисты кричат: русский человек грязный, неуклюжий, немытый. Но ведь все знают, что сами фашисты — и грязные, и вшивые, и самые паршивые!

Вшивость — позор армии. И вот я, краснофлотец Васильев, заметил такое правило: «Кто хорошо парится в бане, тот хорошо и дерется!»

Русские хорошо парятся. Они хорошо дерутся. Но есть такие у нас, которые парятся отменно. Ну, например, Василий Иванович Чапаев любил попариться. Валерий Павлович Чкалов обожал жарку поддать. Такой же у нас Евгений Николаевич Преображенский.

В Ленинграде на Васильевском острове по Семнадцатой линии — я сам там бывал — есть первоклассные бани. Два деда там служат: Прохор Сатаев да Тихон Найденов. Добрые, крепкие старики. И Прохор Сатаев и Тихон Найденов запомнили из клиентов одного — Евгения Николаевича. Сатаев говорил:

— Когда приходит к нам Преображенский, у нас праздник. Веничек ему даешь, он просит поплотнее, попушистее, шаечку ему даешь, он просит поглубже, почище, парную подогреешь, она ходуном ходит, а он говорит: «Нельзя ли еще подкинуть жарку!»

Все сделаешь, смотришь на эту картину, и до того хорошо делается, что сам разденешься и давай с ним на одной полочке париться. А парится он долго, крепко. Тихон Найденов на что крепок, и тот слезает с полка Я слезу. А он все парится. Крепчайший человек! «Чайку бы», — говорит он после того, как слезет. Чаек стоит, повадки знаем. Попьет чайку, отблагодарит и пойдет.

Полковник наш служил на «Комсомольце». Все знали, раз паровой котел вздрагивает на корабле, значит, Преображенский под душем.

Военный врач Баландин пошел с ним в баню — едва не умер! Комиссар Оганезов пошел — сбежал. А вот я — человек настойчивый, терплю наравне с ним, командиром. На пол лягу и моюсь. А он все поддает.

— Дышать нечем, — сказал как-то я. — Не лейте воду на камни...

— Дышать полегче стало, — отвечает он и поддает.

Полковник у нас русский человек. Особый вкус он о бане имеет, — закончил рассказ Васильев.

На другой день спрашиваю я полковника:

— Что на горке возле речки строится? Стоят там два круглых высоких бака возле вырытых ям, камни горой свалены, огнеупорные кирпичи, доски, бревна.

— Да это мы, — отвечает, — баню строим! Только что-то медленно. Пойдем-ка посмотрим, что получилось. Баня давно нужна. Разве в этих курятниках вымоешь бойцов? — он показал рукой на крохотную деревенскую баню.

— Без бани боец — плохой боец!

Мы направились вниз, к реке.

— Ну, что у вас тут такое затерло с баней? Когда же купаться будем?

— С недельку подождать придется, товарищ полковник, — отвечает главный.

— Я посмотрю... — усмехнулся полковник. — Проверю ваше слово.

Баня сооружалась всерьез и надолго. Врытая глубоко в землю, тщательно замаскированная, просторная, она не видна была сверху. Внутри уже все было готово.

Когда мы вернулись, догадливая Татьяна Андреевна обрадовала нас.

— Я вам баньку сегодня стопила! — ласковым голосом сказала она.

Вот, думаю, случай. Уж погляжу, как парятся люди!

— С удовольствием вымоюсь, — отвечаю я ей. — Полковника приглашайте.

— Товарищ полковник, в баньку сходите?

— Нет, — говорит он. — Не хочу я ходить в вашу баньку.

— А почему?

— Да разве у вас баня. Перепачкаешься больше, чем вымоешься.

Пришел майор Кучумов. Заметив, что полковник уснул, он подошел ко мне:

— В баню идете?

— Иду, да вот полковник что-то не хочет!

— Так это ж очень хорошо... Пока полковник спит — помоемся, — и, прижимая к себе сверток белья, Кучумов побежал в баню.

Собрав белье, я пошел за Кучумовым.

Обыкновенная крестьянская баня утонула в глубоких сугробах. Из открытых дверей валил густой пар. Над крышей клубился дым. Пригнувшись, я вошел внутрь.

В дальнем углу, где мерцал керосиновый фитилек, плескался водой заплывший жиром Кучумов, в другом углу лежала высокая груда раскаленных докрасна камней. Рядом стояла кадка с горячей водой, кадка с холодной, кадка со щелоком. Над головой висели шестки для чистого белья.

— Вот благодать, — сказал Кучумов, отфыркиваясь. — Люблю деревенские бани. В них есть что-то волшебное, русское!

Кучумов полез было на полку, но дверь открылась, и на пороге я увидел полковника. Кучумов мгновенно скатился вниз. Он вылил мимо головы шайку холодной воды и тихим голосом сказал мне:

— Ну, что ж, дружище, я готов. Искупался уже. Хорошая банька... — сгреб в охапку белье и незаметно, боком шмыгнув в дверь.

— Что же, Кучумов, — сказал полковник, — грязь только размазал и уходишь?

Но того и след простыл.

Полковник, едва раздевшись, сразу кинул на раскаленные камни две кружки холодной воды. Мне стало душно.

Преображенский подбросил еще две кружки воды. Но этого ему, видимо, показалось мало, и он подбавил еще.

Я с трудом поднял голову. Злой пар валил из угла, стегал меня по всему телу, как самая свирепая крапива. Я лег на пол.

— Вот мы — счастливые люди, — сказал полковник, — купаемся, грязь отмываем, косточки распариваем. Пускай даже в такой мелкокалиберной бане. А гитлеровцы... они ведь и понятия о банях не имеют...

Я слышал его будто во сне: в висках стучало, голова шумела... Глаза слезились, закрывались... Туман...

Лицо полковника поплыло в густой седоватой мгле вверх, вниз. А через минуту оно совсем растворилось в парном тумане.

— И вот пускай вшивеют, белья не меняют, — продолжал он, — пускай подышают в грязи, в снегах, в сугробах, — слышался голос полковника. — Посмотришь на их пленных — омерзительно. Но мы им скоро устроим баньку... Такую баньку дадим, что навеки запомнят. — И он плеснул на камни еще несколько кружек воды подряд.

Лежать и на деревянном полу стало невыносимо. Тело горело... К горлу подступали спазмы. Но я решил не сдаваться. Лежу, мотаю головой, с трудом удерживаю мочалку в руках, но делаю вид, что моюсь.

— Ну, как? — раздался звонкий голос полковника. — Еще поддать?

— Ну что ж, поддайте еще... Я только начинаю входить в курс ваших банных наук.

Он поддал жару еще, и к моим вискам прилила горячая кровь, учащенно заколотилось сердце.

— Вы бы, Евгений Николаевич, еще парку подбавили, а то холодновато стало, — в шутку сказал я, хотя мне было совсем не до шуток.

— С большим удовольствием, — бойко ответил он, — люблю выносливых. Кучумов — этот ничего ведь не понимает в таком деле. Он больше холодной водичкой... Баландин — тот крепче его, но и Баландин из числа слабосильных... Ах, хорошо! Харр-рра-шшо! Скорее бы свою баньку отстроить. Вот покупались бы!

И тут я перестал что-либо понимать. Дикая карусель завертелась в голове. Словно груженные поезда стали перекатываться по ней взад и вперед. Перепонки мои готовы были лопнуть. А полковник свободно и ловко хлестал себя веником, побрякивал: «Харр-рра-шшо!»

Я больше не мог находиться в этой бане! Ползком добрался к дверям, с трудом оделся в предбаннике и прислонился у входа лицом к стене.

— Что же ты удрал? Меня одного бросил?..

Я постепенно приходил в себя, молчал.

— Насморков я не признаю, — задорно хохоча, говорил полковник, — простуды ко мне не пристают... Болеть я вообще не умею. Иногда даже хочется денек поболеть, но

у меня ничего не выходит. Здоров! Харр-а-шшо! И не от природы здоровье мое такое, а от постоянной тренировки организма. Люблю я спорт. Люблю баню, люблю турник и футбол. Иван Романенко тоже здоров, как дьявол, а почему? Режим у человека есть.

Дверь хлопнула, и передо мной промелькнула голая фигура полковника. Он головой, как в воду, нырнул в снег, катнулся по нему и снова побежал в баню.

— Евгений Николаевич, что это вы за трюк выкинули?

— Ты разве здесь?

— Здесь.

— Это называется пощекотал себя. У нас по всему Волокославенскому так делают, не удивляйся. Снег обожжет, а вреда не сделает.

— Простыть ведь можно?

— Ну что ты, простыть!

Я ждал его долго. Не дождался. И когда уходил, все еще слышал, как шлепался пушистый веник, как плескалась вода и яростно шипели в парной раскаленные докрасна камни.

«Кто хорошо парится, тот хорошо дерется!» — вспомнил я.

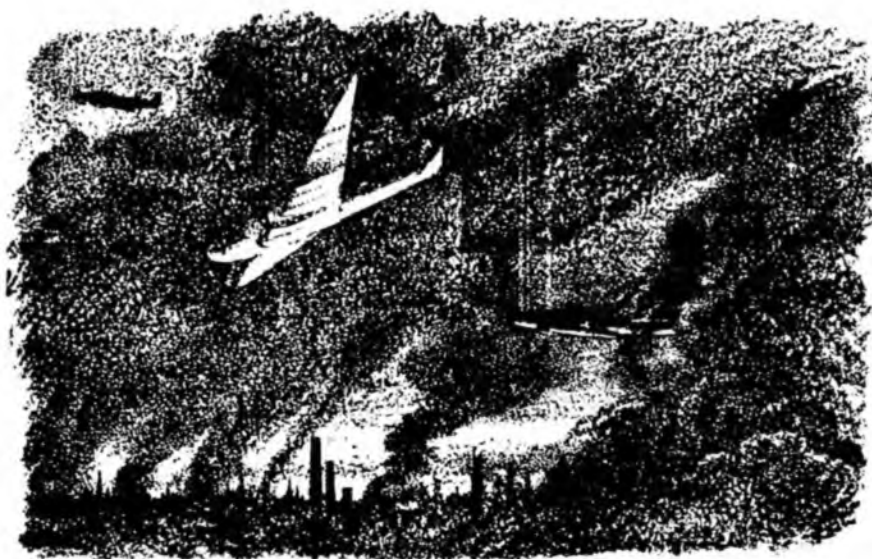
Полковник пришел нескоро. Лег, часок поспал, попросил у Татьяны Андреевны стакан крепкого чаю и как ни в чем не бывало принялся за работу. Крепкий, краснощекий, напористый, сильный человек, хотя ростом и не велик.

Через несколько дней мы осматривали новую баню и были ее первыми посетителями. Строители свое слово сдержали. Они гордились своим прекрасным банно-прачечным сооружением.

Я видел, как бойцы и командиры большими группами направлялись к искусно замаскированной бане.

Оттуда люди выходили веселые, сильные, бодрые. Любо было смотреть на них.

Какое это все-таки чудесное и необходимое заведение — русские бани!



Часть вторая

I. СВОЕЮ СМЕРТЬЮ УБЕЙ ВРАГА!

— Что можно сказать о смерти? — говорил мне однажды полковник. — Мы, летчики, мало думаем о ней. А если и думаем, то — как подобает советскому летчику. Прежде всего, самолет — сам по себе боевое оружие. Если у тебя патроны вышли, ты все-таки найди способ уничтожить врага. Бомбы все сброшены — умеи драться безоружным. Спросишь, чем? Самолетом!

Помнится, над Финским заливом самолет Борисова был подбит зенитным огнем. Изрешеченный крупнокалиберными пулями, он должен был глыбой упасть на землю и разбиться. Ты думаешь, что летчик Борисов не сознавал того катастрофического положения, в котором он оказался? Сознавал. Борисов знал, что те доли секунд, которыми он располагает и после которых он навсегда распрощается с жизнью, нужно истратить так экономно, так бережно, так расчетливо и умно, чтобы

успеть за мгновение сделать больше, чем когда бы то ни было.

Полковник на минуту задумался.

— А красота нашей смерти, — как бы подбирая слова, сказал он, — заключается не в том, чтобы совершить красивый предсмертный жест, а в том, чтобы, умирая, заставить врага принять смерть. Пусть пламя бушует вокруг самолета! Пусть рвутся снаряды! Пусть весь ты, объятый огнем, пылаешь и летишь вниз, к земле. Ты думай: «А что еще осталось, чтобы жить и бороться? Чем можешь уничтожить врага?» И если ты подумаешь по-настоящему, ты поймешь: твой самолет — оружие! Твоя жизнь, которая теплится в груди и с которой трудно и жалко расстаться, — оружие! Твои глаза, мозг, руки, воля — всё боевое оружие!

Борисов погиб. Но мы знаем: погиб прекрасно, погиб не зря. Свой самолет он вместе с собой швырнул на батареи стреляющих пушек.

Звонящий гул раскатился в тот миг по лесу, прогудел по заливу. Предсмертный многоголосый вой был разнесен ветром по всем окрестным озерам. И страх, дикий страх poznали враги, стоявшие возле орудий. Лишь мелкие обломки остались от вражеских батарей...

В нашем полку был летчик Петр Игашев. Натура русская. А как он жизнь ценил! Он и по земле ходил, как будто боялся, что ей больно станет. А смерть Игашев презирал. «Если когда и заглянет ко мне эта старая, косящая старушечка, — так в шутку говорил он, — я буду драться с ней. Не тронь! — скажу. — Не тобою жизнь дана...» И дрался.

Три немецких самолета встретил Игашев, возвращаясь домой. Они напали. Первого он сбил. Настойчиво полезли другие. Ну, понимаешь сам, все закружилось: дома, поля в глазах поплыли, закувыркалось все. Неравный воздушный бой. А где бой, там, знай, каруселится и жизнь и смерть.

Принято считать: кто сильнее, тот побеждает. Но очень часто бывает совсем не так. Сильный вдруг падает на землю, а слабый случайно остается жить и уходит!

Петр Игашев был сильным. Два «Мессершмитта» атаквали его. Игашев не уходит, четко бой ведет. О смерти, я головой своей ручаюсь, он не думал. Игашев

храбро дрался. Хлестнуло пламя. Огонь побежал от моторов к кабинам. Крылья загорелись, задымилась.

Не стал Игашев искать спасения. Внизу враги. К себе на аэродром — далеко. Свернуть, из боя выйти — только смерть! Что же делать? Продолжать бой, погубить фашистских «ассов»! Горящим факелом гонялся Игашев за ними. Они спастись хотели. Уходили. Метались. Он же гонялся, хотя никто еще не знал тогда «таранов». О них потом узнали, распределили по рубрикам и в книгах описали.

Игашев ударил «Мессершмитта» в бок своим горящим самолетом. Неграмотно? Как хочешь, так и думай! Переворачиваясь, самолет полетел вниз. Крепко, до последнего вздоха держал Игашев боевой штурвал. Стрелок-радист, зная, что и он погибнет, стрелял спокойно из пулеметов по третьему врагу. И третий задымил, свернул от них налево. Полетел, болтаясь, горячей головешкой. Два вражеских самолета и наш, Петра Игашева, упали рядом. Третий лежал в поле подальше. Обломки самолетов и сизый пепел говорили. он до конца боролся и победил. Последние дорогие, неповторимые минуты Петр Игашев отдал своей Отчизне.

А Чевыров, Харлампович, Зильберштейн... Какие были ребята! Не раз бывали в переделках, дрались, как львы, смотреть было приятно. Любили воздух, простор...

Я был уверен, что сбить таких никто не сможет. Но однажды Чевырова подожгли. Садиться негде. Берег далеко. Вода зеленая, холодная. Сам Чевыров смертельно ранен. Пилот Харлампович убит. Стрелок-радист Зильберштейн тоже ранен. Машина падает. Вода крепка, как камень. Удар о воду, а пламя все бушует...

По пояс в ледяной воде стоял в самолете за пулеметом раненый Зильберштейн. Машина тонула, уже моторы скрылись под водой. Холодные волны шли по самолету.

Проклятый враг сверху над ними. Добить хочет. Как коршун падает... Стреляет... Но Зильберштейн упрям. Он дешево не даст себя убить. Стреляет сам. Сжав челюсти, давит гашетки, бьет по цели — и вражеский самолет, вращаясь, заревел, взвыл, будто сто чудовищ. Он упал в воду огромной глыбой возле горящего костра нашего самолета. Столбом вздыбилась ледяная вода и высокой волной накрыла горящий самолет и Зильберштейна...

II. ОРЛЫ СЛЕТАЮТСЯ

Был жаркий июль. Стояла необычная на Балтике духота. На нашем аэродроме за зелеными, душистыми, густыми деревьями, где были разбиты походные палатки, летчики подводили итоги боевых вылетов.

Пришел посыльный. Взял под козырек, доложил:

— Товарищ полковник, вас вызывает к телефону комбриг.

— Что вы намерены сегодня делать, товарищ полковник? — спросил комбриг.

— Хотел бы получить задание.

— Вот и кстати. Есть дело. Сдавайте полк и приезжайте ко мне в бригаду. Даю вам двадцать пять минут...

Полковник поднял брови.

Комбриг сказал:

— Вы что молчите? Вам разве не ясно?

— Все ясно. Приказано сдать полк и прибыть к вам в бригаду.

— Точно, — сказал комбриг, — сдавайте полк!

— Кому прикажете?

— Тужилкину.

Пораженный полковник стоял у телефона. «Двадцать пять минут... и все. За что? — думал он, — в чем дело?» Словно пьяный, он пошел к Тужилкину.

— Примите полк, майор Тужилкин, и ни о чем меня не спрашивайте. Я сам ничего не понимаю.

Тужилкин был смущен, взволнован.

— За что? — спросил он.

— Я ничего не знаю. Поеду к комбригу. Я полк создал, люблю его. Как уходить? Почему?..

В двадцать четыре минуты полковник сдал полк и, прихватив Кротенко и Рудакова — своих лучших стрелков-радиостов, направился в бригаду.

Дорога была короткой. «Несправедливо... нет...» — думал полковник.

Кротенко и Рудаков остались ждать в приемной.

— Я не узнаю вас, полковник, — сказал комбриг, протягивая руку, — что с вами? Почему вы так расстроены?

— Я выполнил приказ...

— Ну, и отлично, — сказал комбриг, — поговорим о новеньких ваших делах.

— То есть? О каких делах?..

— Садитесь.

Полковник сел.

— Нам нужен командир Первого полка. Такой командир, чтобы в огонь и в воду!

— А полковник, который сейчас командует им? Он разве плох?

— Командир он хороший, — сказал комбриг, — но задачу, которая перед нами стоит, он не вытянет. Решать ее придется вам. Я понимаю вас: свой полк, конечно, жалко...

— Точно так, — сказал Преображенский.

В тот же день к нему приехал один генерал и попросил полковника позвать комиссара.

— Садитесь, товарищи, — сказал он торжественно, как только явился комиссар Оганезов. — Я хочу говорить с вами, но о нашем разговоре никто не должен знать. Вашему полку выпала задача: в ответ за Москву — бомбить Берлин.

Комиссар так и привстал, услышав это. Полковник поднял на генерала глаза и замер. Наступило молчание.

— Давно пора, — тихо сказал Преображенский, — давно! Слышишь, комиссар! Мы сделаем это. Одно только... Отсюда мы не дотянем.

— Вы предвосхитили мое сообщение, — закуривая папиросу, сказал генерал. — Бомбить Берлин вы будете с другого аэродрома. А гитлеровцы должны узнать об этом только тогда, когда над ними будут рваться бомбы. Подумайте и доложите утром ваши соображения...

Полковник и комиссар вышли от генерала. Закрывшись в комнате, они сразу занялись делом: стали подбирать экипажи. Это было и трудно и легко. Они знали все сильные и слабые стороны летчиков.

Склонясь под зеленым абажуром, они старались предусмотреть все: и зенитный огонь, и дальний путь, и кислородное голодание...

— Все у нас крепыши, — сказал полковник, — обидно будет тем, кого оставим дома.

Не дожидаясь утра, Преображенский снова пошел к генералу.

— Вот видите, — сказал разбуженный им генерал, — вы поспешили. Зачем вы поставили себя одним из первых? Вы думаете, что лучше вас никто не долетит?

— Нет, не то, — возразил Преображенский. — Я командир полка, я должен первым быть. Командир полка всегда должен быть первым...

— Нет, не всегда. Вспомните слова Чапаева. Он точно сказал, где и когда должен быть командир. Вы забываете, что ваш помощник Федоров не хуже вас летает. Вам нужно руководить всем этим... Иногда впереди, иногда и позади!

Полковник понимал резонные требования генерала.

— Прошу вас, генерал, — твердым голосом сказал он, — не отстраняйте меня от этого. Хочу первым бомбить Берлин!

— Хорошо, — наконец согласился генерал. — Пойдете первым. На подготовку вам всего три дня. Пусть люди хорошо отдохнут. Учтите все трудности такого ответственного полета. Выберите путь к Берлину покороче. Берите только лучших летчиков, зарекомендовавших себя...

— Есть! Всё учтем. Одни орлы слетятся!

— Чтобы никого из посторонних на километр от аэродрома не было. Исполняйте мое приказание.

— Есть исполнять!

Домик стоял в лесу возле небольшой речушки. Он был едва заметен. Никто из летчиков и штурманов не знал еще в точности, какая им предстоит работа. Не уже Преображенский, Плоткин, Гречишников, Дашковский, Фокин, Ефремов, Беляев, Дроздов, Трычков и многие другие переселились в этот домик. Неспроста! Что-то готовится... Это понимали все.

III. МОЕ МЕСТО — БЕРЛИН

— Нам следует немедленно перебазироваться, — заявил полковник Преображенский личному составу нового полка, выстроившемуся на аэродроме. — Необходимо срочно подготовить материальную часть к вылету.

Никто, кроме командира и комиссара, не знал, куда предстоит перебазироваться. Догадок возникало много. Одни говорили, что полк будет бомбить в Балтийском море новейший линкор, недавно спущенный на воду, — даже название придумали: «Адольф Гитлер». Другие называли иной объект — крупнейшие танковые дивизии. Третьи утверждали, — и они были близки к истине, — что

полку Преображенского предстоит нанести серьезные удары с воздуха по дальним гитлеровским аэродромам.

Совинформбюро только что сообщило о новых попытках налета фашистской авиации на столицу нашей Родины Москву. Услышав это тревожное сообщение, Петр Хохлов, штурман Преображенского, прибежал в штаб со слезами на глазах, развел руками:

— Братцы, да как же это? Москву бомбили! Нет, так дело не пойдет. Мы должны отомстить! Ведь мы же на них не собирались нападать. Мы же чужой земли нигде не воевали! Сегодня же... сегодня разработаю кратчайший маршрут к Берлину!

Между тем Геббельс, этот карлик, писал в листовках:

«Если вы думаете (это относилось к советским войнам), что сможете достойно защитить Москву и Ленинград от ударов с воздуха, то вы глубоко ошибаетесь. Вы все равно погибнете под развалинами стен и домов Москвы и Ленинграда! Вы не устоите перед ураганом немецких бомб и разрывающихся снарядов. Мы превратим Москву в пепелище, сравняем Ленинград с землей, а матросский Кронштадт — с водою. Напрасно сопротивление. Напрасно! Что вы можете противопоставить нам, единственной в мире нации, грозной немецкой силе?»

Геббельс уже раструбил на весь мир, что «захват Ленинграда является вопросом нескольких дней», что немцы уже ворвались в предместья города и что «держатся только, погибая в безумии, Васильевский остров, Кронштадт. Но Кронштадт уже давно горит и не представляет из себя серьезного противника».

В Берлине в это время демонстрировался гитлеровский кинобоевик, заготовленный в начале войны: парад немецких войск на площади у Зимнего дворца. Но Ленинград был как гранит!

Да, мы не скроем — в эти дни
Мы ели кожу клей, ремни.
Нс, съев похлебку из ремней,
Вставал к станку упрямый мастер,
Чтобы точить орудий части,
Необходимые войне.
Но он точил, пока рука
Могла производить движение,
А если падал — у станка,
Как падает солдат в сражении!..

Скоро полк взял курс на запад.

Пройдены знакомые места: Курголовский риф, острова Лавенсаари, Пенисаари; за ними взъерошенным медведем вырисовывался остров Гогланд.

Время идет... Наконец самолеты приземляются на острове Безымянном.

Вечер теплый, тихий. В такой бы вечер шептать по-друге слова любви. Зеленест вокруг мягкая, сочная, еще молодая трава...

Два дня люди устраивались на жительство. Устроились. И вот на аэродроме появились генерал и всем известный Коккинали. Генерал без лишних рассуждений сказал:

— Правительство поручило вам, доблестные воины, сделать разведывательный полет и нанести бомбовый удар по столице германского фашизма — Берлину! Командование возложено на вас, полковник Преображенский.

Преображенский, выйдя вперед, спокойно сказал:

— Будет выполнено!

Коккинали предостерег летчиков от некоторых ошибок. Во всем требовалась предельная точность.

Все смотрели на Каспина. Что скажет Каспин? Это же «метеобог»! Без него не обойдешься в авиации.

Каспин дал благоприятный прогноз погоды. Но он оказался неточным. Пролетев траверз «Л», летчики уперлись в мощную стену непроходимой балтийской облачности, которая закрывала все море.

Генерал авиации, не доверяя познаниям Каспина в области метеорологии, приказал ему немедленно сесть в самолет и вылететь на разведку погоды.

— Пора вам делать погоду, — сказал он.

Метеосводки Каспина наводили тоску. Из них явствовало, что наступают резкие перемены в температуре воздуха, особенно над морем и, главным образом, на подступах к Берлину. Кучевые облака — до десяти баллов, дождевые полосы.

В штаб вызвали начальника метеослужбы, спросили, установится ли более подходящая погода.

— Лучшей погоды в ближайшие дни не предвидится, — сказал он.

Руками развели. На том и закончился разговор о погоде.

Суровые туманные ночи без звезд, без луны, наконец, прошли. Каспин с борта самолета дал ожидаемые результаты.

— Ну, теперь — лететь! — сказал полковник. — Надо пробиваться к Берлину, фашистскому логову.

В назначенный срок возбужденные и строгие летчики, штурманы, радисты и стрелки направились к самолетам. Машины давно были готовы: моторы опробованы, бомбы различных калибров подвешены, связь выверена, кислородные и навигационные приборы установлены, пулеметы испытаны.

— Все по местам! — подал команду полковник.

Первым поднялся в воздух Афанасий Иванович Фокин.

— О, этот малый сделает дело! Надежный парень, — говорит комиссар полка.

За Фокиным идут Беляев, Василий Гречишников и «музыкант воздуха» Финягин.

Во главе третьего звена (Ефремов, Кравченко, Александров, Русаков) пошел Ефремов. Первую группу: Плоткина, Дашковского, Трычкова возглавил сам полковник. Перед тем как подняться в воздух, он сказал:

— Стрельбы из пулеметов не открывать. Идти скрытно.

Он шел к машине прямой, уверенный, с поднятой головой.

— Помните, товарищи, — сказал комиссар напоследок, — за вами весь мир следит! Не уроните Красного Знамени, с честью выполняйте приказ.

— Не подведем, комиссар, — отвечали ему и Преображенский, и Хохлов, и Гречишников.

— Дойдите! Не дрогните!

— Не дрогнем, комиссар, дойдем.

В словах комиссара не было ничего, что било бы на эффект, казалось бы крикливой фразой. Нет! Комиссар говорил просто, ласково и строго. От души говорил. И каждый, кто слушал его, ни минуты не колебался: да, этого требовала партия! Народ!

Подходит высокий худощавый летчик, Василий Гречишников. Он мнет в руках шлем. Только вчера он получил письмо, что немцы замучили его мать, угнали в плен жену, детей...

— Ну, что, малыш, — так комиссар звал Гречишникова, — улетаешь?

— Да, улетаю, товарищ комиссар. А знали бы вы, как щемит у меня сердце!

— Крепись, малыш, крепись, — жмет комиссар руку Гречишникову.

Самолеты выруливают, идут мимо них на старт. Грозные моторы пригибают высокую траву сильными потоками воздуха, ветер бьет по лицу Оганезова и Гречишникова...

Широкая, спокойная гладь. Сине-зеленое море. Оно не утомляет глаза. Самолеты набирают высоту. Видимость отличная. Машины находятся уже далеко от Родины.

Темнота наступает так быстро, что не успеваешь присмотреться ко всему окружающему. Самолеты подошли к острову Б.

У капитана Плоткина хорошо развито чувство локтя. И в темноте он продолжает лететь рядом с полковником. Где-то рядом Дашковский, Трычков, Гречишников. Позади остальные.

Лунная, звездная ночь. Безграничные просторы открыла Балтика летчикам. Они поднялись над миром, над селами, городами.

Летят в логовище врага, к самому его сердцу...

Неожиданно погода резко меняется. Со всех сторон ползет отвратительная пепельная дымка. В кабине сплываешь. Теряется земля, скрывается море, постепенно исчезают островки, затаенно изрезанные берега. Самолеты идут по приборам. И вдруг как стена — на высоте пяти с половиной тысяч и до самой земли густая, неразрывная, словно гранит, облачность. Ветер бросает воздушные корабли. Мглистая, все застилающая, промозглая тьма стоит высоким барьером.

— Что будем делать? — говорит полковник. — Бомбить Штеттин или идти на Берлин?

— Конечно, идти на Берлин, — расчерчивая карту надвое, отвечает штурман.

— Да, на Берлин! — И оба умолкают. Лишнее слово приносит усталость.

Руки стынут. Слезятся глаза. Кислородные маски и стекла очков заволакиваются сизоватой морозной коркой. Трудно содрать корку, трудно прочистить стекло.

Холодный пот, мучительный и сильный, не выступает — льется по лбу, густится на лице, груди, руках. Грудь стынет, будто кто-то положил за пазуху кусок льда.

Тошнит. Рябит в глазах. Ходят и как будто переворачиваются приборы. А за ними надо следить строго...

Штурман Хохлов снимает меховую перчатку: у него деревенеют пальцы. Тупая боль в суставах. Под ногтями остро щекочет. Из-под них брызжет тонкими струйками кровь... Штурман снова надевает перчатки. Они постепенно наполняются теплом. Это тепло от крови...

— Как жив, сынок? — утомленно спрашивает полковник.

— Мне хорошо, — отвечает штурман. — Немного тошнит... — Он скрывает свою усталость.

— У меня руки стынут, — говорит полковник. — Где наши друзья? Почему я не вижу их? Не вижу земли. Где земля, сынок?

— Земля впереди, полковник. Осталось не так уж много... Крепитесь!

Они умолкли. Первые капли крови текут в ушные раковины.

— Это хорошо, — вяло говорит штурман. — Когда кровь идет, человеку всегда легче.

Теплые густые капельки крови ползут по шее за воротник. Но штурман внимательно следит за картой. Он вычерчивает на ней линии длинным, острым карандашом. Острие карандаша ломается. Штурман чинит карандаш бритвой.

— Сынок, идут ли наши самолеты?

— Идут, товарищ полковник. Идут. Вижу силуэты самолетов справа и слева. Дойдем, полковник! Дойдем...

— Как чувствуют себя стрелки?

— Кротенко здоров, Рудаков здоров, — отвечают стрелки-радисты.

Кротенко и Рудаков, усталые и измученные, вытирали кровь на лицах. Они порывались сообщить, что Штеттин находится слева, в ослепительно ярких огнях, что прожекторные станции любезно приглашают садиться на их просторный аэродром.

На штеттинском аэродроме, — это заметил Хохлов, — производились ночные учебные полеты. Гитлеровцы, как видно, приняли наши машины за свои. Мощные прожекторы положили застывшие лучи вдоль аэродрома; на

него можно было сбросить бомбы, но штурман воздержался.

Бомбардировщики прошли над городом, держа упорно заданный курс. Квадратные плитки кварталов Штеттина, прижатые к земле, остались позади. В темной ночи долго еще отсвечивали и серебрились электролампы, освещавшие безлюдные, притихшие улицы города.

И вот сразу за Штеттином воздушный путь снова закрыт. Еще мгновение — и крепче стали стучаться в стекла свинцовые капли.

— Дойди! Дойди! — заклинали свои машины летчики. — Не сдай! Не уподи! Дойди!

Идти ночью во мгле нелегко.

Можно разбиться, можно врезаться в заградительные аэростаты. Их на пути много. Они шуршат под крыльями самолетов. Длинные, свинцово-серые, они покачиваются от ветра, когда, едва не задевая, над ними проносятся самолеты.

— Берите высоту 7000, — передает флагманский штурман Хохлов, — лезьте повыше, пробивайте эти проклятые облака...

Облачность разорвалась. Луна улыбнулась в просвет. Запрыгала и щедро плеснула бледновато-тусклым сияньем. Она озарила неожиданно открывшийся город. Зеркальный водоем, реку... Заводы. Электростанции. Склады.

Сколько складов! Сколько змеиных гнезд! Это Берлин! Да, да! Вот он — внизу, сверкает огнями. Темнеют окраины, блещет огнями центр. Видны все контуры города, улицы, каналы. Не ждал Берлин гостей! Электрический свет заливает улицы. Рейхстаг! Канцелярия Гитлера.

Полковник Преображенский не видел своих летчиков.

— Куда они девались? Не упали ли? — полковник поглядел в окошки.

Но два самолета — Плоткина и Дашковского — шли слева. Один едва был замечен справа — это самолет Трычкова.

«Остальные тоже дойдут!» — подумал полковник. Он плавно развернулся над городом и подал всем экипажам сигнал: «Идти на заданные цели!» Самолеты спокойно, приглушая моторы, разошлись. Полковник, сни-

жаясь, пошел на загроможденный постройками участок: завод Симменса.

Хохлов протянул руку к сбрасывателю тяжелых бомб. Рука у штурмана не дрогнула, нет. Она резко нажала на грозный рычаг. Пиропатроны сработали хорошо. Бомбы падают вниз.

«Наверное, — думал штурман, — они еще никогда не падали с такой силой, никогда не разрывались так оглушительно!»

Взрывная волна прокатилась по кварталам заводов. Стены закачались, поползли, раздвинулись и, грохоча, рухнули. Заводские трубы переломились и полетели поперек длинных улиц, на крыши корпусов, на мостовые. По кирпичу, глыбами... прахом... Бегущие конвейеры, готовые пушки, граненые болванки, стрекочущие механизмы, дорогие станки — все к черту!

Задымились обломки зданий.

В квартале надолго потух электрический свет. Зато вспыхнул термитный огонь. Он побежал по заводам Симменса.

Две бомбы упали в правой части квартала. Две — в левой. Самая большая легла в центре, там, где торчал шпиль, где поднималась какая-то вышка. Упала она между гигантскими подъемными кранами, за корпусами главных зданий.

Скользя на крыльях, полковник припал лицом к стеклу кабины. Штурман Хохлов, почти стоя, наблюдал за своей работой через просторную и светлую штурманскую кабину.

Вот так. Вот так. Он ставил точки на карте Берлина.

Радист Кротенко видел, как рушилось все. Он нервно и радостно дважды поведал миру:

«Мое место Берлин! Мое место Берлин! Задачу выполнил! Задачу выполнил! Возвращаюсь на базу. Кротенко».

...На аэродроме, где так мирно шелестела зелень листьев, люди не спали. Ждали. Не спал комиссар Григорий Оганезов. Не спал генерал авиации. Не спала официантка Маша.

А путь у летчиков был тяжелым, дальним, через туманы, облака, редко освещался звездами.

Берлин темнел и скрывался не сразу. Он уходил назад кусочками, кварталами. Один участок погрузился

в темноту, затем другой, третий. Зловещие подвижные огоньки мелькали по городу, как бабочки. Они вспыхивали, тухли, снова вспыхивали.

Сорок минут — длинных, огневых, ураганных — это обратная дорога до Штеттина.

Штеттин кипел, как адский котел. Штеттин горел. Гремели всюду зенитки. Они обнаруживали себя частыми вспышками. Светящиеся снопы артиллерийского огня летели с земли. Море вспышек, море острых, смертоносных искр. Самолеты держали курс на Родину...

— Дойдем, — уверенно сказал Хохлов, — не упадем. Шальной огонек нам не страшен!

— Дойдем! — улыбнулся Преображенский.

К самолету полковника пристроился кто-то из летчиков.

— Не знаешь, сынок, — спросил Преображенский у штурмана, — кто там прицепился к нам?

— Как будто Афанасий Фокин. А впрочем, не знаю.

— Нет, Фокина я давно не вижу, это не он. Скорее всего это Миша Плоткин. Походка его.

Самолет Плоткина то как бы карабкался вверх, то опускался вниз.

— Что с ним? Спросить бы... — сказал Хохлов.

— Не торопись. За Штеттином спросим. Сейчас молчи как рыба!

Глазастые страшные фары мелькнули впереди. Чудовищные фары. Как метеоры мчались они к самолету полковника. Не сдобровать!

Полковник понял — истребитель. Идет на пересеченном курсе. Вот-вот ударит!

— Истребитель, — тотчас же сказал штурман. — Огонь не открывать!

Как летучая мышь, промчался ночной истребитель: с диким воем он проскочил вниз, видимо, близко под крыльями, — так близко, что поднимись он на сантиметр повыше, самолеты столкнулись бы. Но он промчался, как слепой. Дальний бомбардировщик пошел своей дорогой. А ослепляющие фары бежали по небу, как огоньки по длинному бикфордову шнуру.

— Наткнется где-нибудь, сволочь, — озабоченно заметил полковник.

— Нет, наткнуться ему трудно, — спокойно отозвался штурман.

Далеко прошли они над темными лесами, над пустыми ночными полями, а Штеттин сзади пылал, пылал...

— Горит Штеттин-то, — сказал Кротенко. — Ишь как!

— Вижу. Значит, наши не все дошли до Берлина, вернулись и отбомбились.

На аэродром между тем пришли первые машины. Зашли на посадку. Сели. Люди бросились к прилетевшим.

— Ну, как? Добрались? — спрашивали они наперебой. — Что вы молчите?..

— Нет, — буркнул Фокин, снимая шлем. — Никуда мы не добрались!

От расстройства Фокин не был похож на себя. Вслед за ним вошел в столовую Беляев. Едва добрал Егельский.

— Не дотянули? — осторожно и разочарованно спрашивали их.

— Не дотянули! Решили Штеттин бомбить. Приказ Беляева был...

— Так, — угрюмо сказал комиссар. — А вот Кротенко сообщил нам, что они дотянули! Берлин бомбили! Воцарилось тревожное молчание.

— Значит, они пробились! — встрепнулся Фокин. Он готов был яростно налететь на штурмана Егельского. Это он обратный курс задавал! Он всех потянул за собой назад. Не вытерпел, вернулся. Кишка оказалась слаба...

— Вы правду говорите, комиссар? — спросил Петров.

— Что за шутки могут быть в таком деле? Конечно дошли. Сейчас возвращаются на базу...

Придя к себе в кубрик, Афанасий Фокин, не раздеваясь, свалился на кровать и тяжело застонал. «Зачем же мы вернулись? Ведь я же так хотел в эту ночь мстить за Москву».

В это время с быстротой молнии разнеслась по аэродрому весть:

— Летят! Товарищи летят! Преображенский!

Пилот передавал новость пилоту.

— Летят!

В тот день встало чудесное утро. Запах морской воды пахнул на аэродром. Яркое солнце заблестело над заливом, над камышом, над лесом.

— Летят! Несут добрые вести!

На аэродром бежали врачи, медицинские сестры, портные из пошивочных мастерских, канцеляристы с базы.

Серые облака неслись к морю.

В деревне за болотом пели петухи.

На аэродроме воцарилась тишина. Потом донесся отдаленный глухой рокот моторов.

— Один... два... три... четыре... — считал кто-то из летчиков.

Шум моторов быстро приближался.

Стало совсем тихо. На мгновение моторы смолкли, и тотчас из облаков над центром аэродрома, над головами притихших людей показались стремительные номерные бомбардировщики.

— Преображенский! — крикнул военный врач. Его руки, державшие бинокль, дрожали.

Глубокий, медленный разворот, утомленный ритм работы моторов, радиус большого круга, описанного машинами над аэродромом, — все говорило о том, что люди Преображенского устали.

Видны штурманские кабины, короткие радиомачты, соединенные антеннами, пулеметы, красные, как будто обновленные, советские звезды. На большой дистанции, словно соединенные невидимой цепью, тянулись один за другим бомбардировщики.

Они спускались ниже, еще ниже, еще... Казалось, они никогда не коснутся земли.

Наконец первый бомбардировщик прогудел и мягко заскользил по земле.

Второй круг на посадку сделал Михаил Плоткин. Пришел Дашковский. Дашковский дал сигнальную ракету — «иду на посадку!» Ему ответили такой же ракетой. Проходят минуты, но Дашковский еще не приземлился.

— Ох, как он устал! — встревоженно говорит комиссар.

Кажется, сам бы поднялся в воздух, сел за штурвал самолета и помог Дашковскому собрать силы для благополучной посадки. А летчика все нет. Дашковский! Где ты?

И в этот миг за дальним лесом, где поднимаются высокие сосны, за темными крышами ангаров, вырвалось пламя.

— Дашковский погиб! — вскрикнул комиссар. Он кинулся туда, где мелькнула вспышка разрыва.

Смерть экипажа была мгновенной.

Самолет, в котором находились Дашковский, Николаев, Элькин, пронесся стремительной ракетой, оставив за собой огненную черту на небе. Стебли травы закачались, лес зашумел: «погибли!» Не дотянули каких-нибудь ста метров...

Комиссар снял шапку.

Дашковский, Николаев и Элькин, уходя в полет, прощались с комиссаром, приглашали его по возвращении выпить с ними стаканчик горяченького кофе. Комиссар стоял возле разбитого самолета, смахивая слезы. Подняв обломок крыла, он бережно положил его поближе к моторам. А зачем? Горе сдавило грудь комиссара...

Когда прибыл генерал авиации, полковник доложил:

— Товарищ генерал, задание выполнено.

— Дорогой мой! — воскликнул генерал и поцеловал Преображенского.

Преображенский попросил разрешения присесть на землю. Он сел, расстегнул комбинезон и, тяжело дыша, посмотрел на окружающих. Рядом с полковником сели штурман Хохлов, летчик Трычков. Их глаза слипались, как у детей, боровшихся с дремотой.

Земля была теплой, родной, близкой. Полковник ласкал взглядом качающуюся, шумную зеленую траву.

Генерал, сняв фуражку, положил ее на землю. Он ни о чем не расспрашивал летчиков. Он только внимательно следил за каждым их движением. Полковник заговорил сам.

— Ребята! — громко сказал он, — а все-таки Берлин за нами!

...Маша встретила героев радостным щебетанием.

— Кушайте... Кушайте, Евгений Николаевич! Петр Ильич, отведайте икорки... Огурчики. Помидоры. Всё здесь. Все вкусно. Товарищи! Дорогие!

— А где же Фокин, Маша? — спросил полковник.

— Фокин? Он как будто болен... А впрочем, я не знаю.

Полковник встал и направился в комнату Фокина. Летчик грустный лежал на кровати.

— Афанасий Иванович, что ты лежишь, болен?
— Не болен я! — хмуро сказал Фокин, отведя глаза.
— Ну, выпей стаканчик вина. Ведь мы сегодня совершили важное дело, Афанасий Иванович.

Фокина передернуло.

— Евгений Николаевич, — проговорил он, — не ходил я в Берлин. Я вернулся... Я...

— Ну и не беда. Ты, Афанасий, еще будешь там, непременно будешь.

— Буду! Но сегодня я не могу спокойно смотреть вам в глаза.

— Да полно тебе, Афанасий Иванович... Ну пойдем со мной. Там все наши. Поднимайся!

— Мне стыдно, — дрогнувшим голосом проговорил Фокин. — Вот послушался Беляева, вернулся. Погода ему помешала. А при чем тут погода! Вы-то дошли!

— Дошли, — согласился полковник.

— А погода?

— Погода над Берлином была отличная. Тихая ночь, как здесь. Вот когда за Штеттин вышли, коряво стало.

— Ну, видите, — с грустью в голосе сказал Фокин, — была, оказывается, погода. И небо... в общем, позор! Нет, Евгений Николаевич, идите к товарищам, я не пойду.

— Как хочешь, Афанасий, — мягко сказал полковник, — только я убежден, что теперь ты обязательно дойдешь.

Рано утром радио оповестило весь мир:

«В ночь с 7 на 8 августа группа наших самолетов произвела разведывательный полет в Германию и сбросила некоторое количество зажигательных и фугасных бомб над военными объектами в районе Берлина.

В результате бомбежки возникли пожары и наблюдались взрывы... *Совинформбюро*».

IV. „НЕ БУДЕТ ДОБРА ВРАГУ!“

В тот день пришла почта. Полковник получил письмо от отца:

«Родной мой сын, Евгений! Наверное, ты в капусту крошишь гитлеровцев?! «Не будет им мало» — это твои

слова. Я знаю хорошо, что они не разойдутся с делом. Будь хладнокровен, будь спокоен. О своих детях не беспокойся. Мы с мамой по мере сил своих ведем колхозную работу.

Война всерьез! Ненависть наша к врагу растет.

Но вот беда — я стар. Хотелось бы винтовку взять... Желаю тебе, мой родной сын, больших успехов, удач и счастья. *Твой отец*».

Через час пришло еще одно письмо:

«Где ты, Евгений, отзовись! Напиши мне коротенькое письмецо в два слова: «Я здоров». Оно нас успокоит. Галюска книжки читает. Малютка Ольга при встрече, пожалуй, назовет тебя «Евгений». Ей скоро четыре месяца. А Вовка очень часто требует от меня, чтобы я взяла на ручки Оленьку. В семье у нас пошли знаменитые художники. Смотри, читай, любуйся».

Огромный волжский пароход плыл по реке: высокая труба, две пушки. Бурлящие потоки. Это рисунок Вовки.

Еще картинка.

На фоне голубого неба нарисована птица. Река. Безлесная зеленая поляна. Калиточка из хвороста. И стройный домик с белой крышей. Грибы возле забора, как шапки с красными верхами, цветы в саду. Дорога к домику, и у дороги склонилась одинокая сосна.

Внизу приписка: «Милый папа. Я жду тебя. *Твоя Галя*».

Полковник прочел письмо от отца, жены, просмотрел рисунки детей, но ответить на письма в этот день не мог. Торопился. Он взял эти дорогие листочки с собой.

И вот опять глухая ночь. Полярная звезда светится высоко над головой. За дальней дымкой мелькнул прожектор. Он перерезал желтой прозрачной полосой небо и померк. Взметнулись стремительные ракеты, как огненные стрелы, понеслись от берега к заливу.

На старте снова загудело. Бомбардировщики взревели и побежали невидимой дорогой по полю, мелькнули над пашней за селом и взяли курс на запад.

Гречишников и Фокин, угрюмый Плоткин и Ефремов пошли в Берлин. И на этот раз их вел командир полка.

И вновь повторяется тот же путь — дорога славы и

смерти. Холодное море в клочьях тумана. Накрытый страшной шапкой зенитного огня Штеттин. Два яруса пламени. Пересечения прожекторных лучей. Бесконечные темные вражеские поля. Беснование зениток.

Над Берлином бомбардировщики расходятся. Преображенский идет на запад, к станции Вичлебен, Ефремов берет на себя Шпандау, Плоткин кружится над Лихтенфельдом. И все так же, как в первый раз. Падение бомб, броски облегченных машин, пожары внизу, противозенитные маневры... Невыразимое напряжение, которого не замечаешь над целью, сказывается только потом.

В этот день Фокин наверстал потерянное: он донес свой груз до сердца фашистской Германии. Теперь и его бомбы точно ложились в цель. Он долго, забыв про товарищей, кружился над Берлином. Когда последние бомбы на мгновение осветили мрак вспышкой пламени, самолет Фокина лег на обратный курс. И летчик, и штурман вглядывались в воздух.

Синь свинцовая ползла на них.

Возвращаясь, они попали в огненное кольцо. Сорок минут огня. Сорок минут дергаются, словно в судорогах, немецкие прожекторы.

Рышут истребители-перехватчики. Их фары поминутно сверлят темноту. Все небо исполосовали, изрезали в куски лучи прожекторов. Столбы пламени соединили землю с небом: бледно-голубые, оранжевые, синие, мигающие вспышки, как паутина, поползли в стороны и соединились где-то справа, за луной.

— Под нами Данциг, — сказал усталым голосом Афанасий Фокин. — Нет бомб!.. Жаль.

— Да, очень жаль, — согласился Швецов. — А знаешь, Афанасий, какой нам еще далекий путь!

— Ты, я слышу, раскис немного. Ну, подтянись. Встряхнись.

Швецов пошевелил рукой. Поднялся со штурманского сиденья, чтобы лечь поближе к носу и наблюдать. Пополз вперед.

Температура — минус сорок шесть. Дышать трудно. Штурман хотел проверить курс. На столике лежала карта, но он не мог поднять к ней руку. Рука была точно чужая. Глаза слипались. Малейший поворот, малейшее движение казались тягостными.

— Ну, возьми себя в руки, Швецов... Встряхнись. Следи за картой, — звучал голос Фокина, — осталось немного.

Земля туманилась, кружилась, падала, взлетала, была неуправляемой.

Прягал компас. Видимость совсем пропала. Земля закрылась и перестала колебаться внизу... Путь дальше — по приборам...

— Послушай, Герман... Герман...

Ответа не было.

— Мы разобьемся, Герман...

Ответа не было.

— Петрович, ты жив?

Ответа не было.

Радист сидел без шлема, свесив голову. Без кислородной маски, прижавшись плотно к стенке самолета. Он задыхался.

— Петрович, Герман...

Ответа не было.

Полковник прилетел на свой аэродром к утру. Утро было нежно-лиловое и доброе. Поднялось солнце. Промчался ветерок. От залива потянуло прохладой, запахами морских трав.

Посадку сделал Миша Плоткин. Он вылез на крыло и присел. Потом с трудом поднялся и сошел на землю, доложил:

— Задание выполнено!

Переступая медленно и грузно, как будто кого-то ожидая, Плоткин пошел отдыхать, сделал несколько шагов, вернулся:

— Полковник, забыл спросить вас: все вернулись?

— Нет, не все еще, Михаил. Афанасий не вернулся, Фокин и Трычков.

— Что?

— Ну вот... Не вернулись пока, — нехотя повторил полковник.

На аэродроме было тихо. Прилетевшие все уже спали. А встречающих полковник отослал обратно.

Послышался далекий гул моторов.

— Трычков! Трычков пришел!

Трычков вылез из кабины и бросил шлем на землю.

— Ну, что тебе, Волков, взбренилось, ей-богу? —

сердито сказал он штурману. — Что взбрело тебе в голову? Ты же на чужой аэродром меня сажал. Я говорю: куда ведешь? А ты: давай садись!

— А дальше что? — насторожившись, спросил Преображенский.

— А дальше то: шасси я выпустил, два круга сделал и уже вниз пошел. Там меня очень любезно приглашали. Почти притронулся к земле. И вижу: батюшки, какие ангары! У нас таких ангаров нет. Куда иду? Кричу Волкову: «Куда ты меня сажаешь?» — «Не знаю», — отвечает.

— Ах ты Волков! Сукин ты сын! Куда твои глаза глядят. Не буду я больше с тобой летать. Вот хоть убей, не буду. Едва ушел оттуда!

— Что скажешь, штурман? — строго спросил полковник.

— Все точно изложил Трычков. Я заблудился, — пробормотал Волков.

— На вражеский аэродром он заблудился, — поправил летчик, — вот какой компот тут получается.

— Идите спать. Покушайте, потом разберемся.

— Есть! — сказал Трычков и пошел рядом с Волковым, растерянным и хмурым.

А Фокин, как его ни ждали, не вернулся. Пропал чудесный летчик!

Преображенский ушел с аэродрома последним. С ним оставался Миша Плоткин.

— Ну, что, Миша? Невесело у нас сегодня. Большое горе!

Плоткин не ответил.

Они пришли к Хохлову. Тот спал.

— Сынок, — сказал полковник, наклоняясь над ним, — ты ведь не знаешь, что случилось.

— А что? — вскакивая, спросил Хохлов.

Полковник не успел ему ответить:

— Внимание... Внимание... говорит Москва...

— «В ночь с 8 на 9 августа группа наших самолетов совершила второй налет на Германию, главным образом с разведывательными целями, и сбросила в районе Берлина на военные объекты и железнодорожные пути зажигательные и фугасные бомбы. Летчики наблюдали пожары и взрывы. Действие германской зенитной артиллерии оказалось мало эффективным.

Все наши самолеты вернулись на свои базы...»

— Кто не пришел? — спросил Хохлов.

— Нет Фокина, — ответил Плоткин, — кто бы мог подумать?..

— Фокина? Этого не может быть! Не верю! Пойдемте на аэродром. Фокин придет...

— Мы и сами этому не верим. Вернется он! — сдвигая брови, сказал Преображенский.

Настольные часы выстукивали ровно и тихо. Малеющий шорох звучал, как выстрел.

Три летчика, три старых друга, сидели здесь, а мысли их неслись туда, где сверкали молнии батарей, где небо, как в аду, кипело, где штурман летчика Фокина на их глазах сбрасывал смертельный груз!

Что же произошло с Фокиным? Где он?

А Геббельс все врал. И как врал! Он заявлял представителям международной печати, что ни один самолет противников Германии не сможет появиться над Берлином.

«Это надежно защищенная твердыня нашей нации. Скорее падут столицы всех стран мира, нежели падет Берлин. Ни один камень не содрогнется в Берлине от постороннего взрыва. Немцы могут жить в столице спокойно. Советская авиация уничтожена. Советский военный флот в кратчайшие сроки будет уничтожен».

Немецкие радиостанции сделали странное сообщение:

«В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации в количестве 150 самолетов пытались нанести удар по нашей столице, но огнем зенитной артиллерии и действиями ночных истребителей основная масса авиации противника была рассеяна. Из прорвавшихся к городу 150 самолетов 9 было сбито».

Английское радио вынуждено было прокомментировать это убогое сообщение Геббельса:

«В ночь с 7 на 8 августа ни один английский самолет с наших аэродромов не поднимался ввиду совершенно неблагоприятных метеорологических условий».

V. ОРДЕН ЛЕНИНА

Петр Ильич Хохлов, отправляясь на аэродром, как всегда простился с сыном и женой Валентиной Ивановной. К вечеру он надеялся вернуться. Но вышло иначе.

Получив срочное задание, штурман с полковником Преображенским вылетели на другой аэродром. А через несколько дней полевая почта доставила Петру Ильичу записку, из которой он узнал, что Валентина Ивановна, его жена, вместе с сыном вынуждена была эвакуироваться на Кавказ и что она не знает, как поступить ей с орденом Ленина, который остался на кителе Хохлова.

Петр Ильич не успел ей ответить. Выполняя задание, он летел над хмурым Балтийским морем.

Валентина Ивановна, не дождавшись ответа, взяла орден, положила его в сумку и тронулась с маленьким Борисом в неизвестный путь.

Железнодорожные станции, полустанки, вокзалы, пароходные пристани привели ее в город Ростов, у стен которого завязалась жестокая битва. Валентина Ивановна оказалась в затруднительном положении. Податься некуда. Она решила подождать несколько дней на вокзале, чтобы потом продолжать свой путь. Она пробивалась в Грозный.

Немецкие летчики варварски бомбили вокзал, железнодорожную больницу, поезда. Они расстреливали детские эшелоны из пулеметов. Вагоны горели, дети тушили их, таская воду ведрами.

— Ничего, ребята, ничего! — кричал высокий бело-волосый мальчик.

Глядя на этих решительных ребят, Валентина Ивановна успокоилась. Малышка Борис уснул на ее руках, хотя и был голоден.

«Орден Ленина! Сын! Любой ценой все надо спасти!..» — думала Валентина Ивановна.

Вдруг совсем близко послышалась дробная пулеметная очередь.

Гитлеровцы ворвались в здание вокзала.

По привокзальной площади ползли танки. Солдаты стреляли с крыш, из окон домов. Танки гремели выстрелами.

Потом все затихло. Эта удивительная тишина пока-

залась Валентине Ивановне подозрительной. Она осторожно открыла двери и, обомлев, увидела: навстречу идут четыре немца с автоматами.

«Все кончено», — подумала она.

— Послушай, — сказал по-русски долговязый, — ты что здесь делаешь? — и раскрыл одеяльце.

— А, вот оно что! Ему надо оторвать голову, — сказал другой, кивнув на малыша.

Сердце Валентины Ивановны похолодело. Она прижала к груди ребенка и хотела бежать.

— Не торопись. Тебе идти теперь некуда! Пойдем со мной.

Всех пассажиров немцы загнали в узкий коридор. Тут же пристрелили больного старика, на котором была красноармейская шинель.

— Германия имеет прекрасную индустрию, — говорил долговязый. — Нам не жалко патронов.

После старика убили еще женщину.

— Она много шумит, — сказал застреливший ее. — Мы устали от этого шума, нам нужен покой!

Четыре дня всех их держали без хлеба и воды в коридоре вокзала. Тех, кто пытался что-либо сказать, тащили за вокзал и расстреливали. Выстрелы отчетливо доносились в коридор.

На четвертые сутки Валентине Ивановне удалось выскочить за дверь и скрыться в темноте.

Малютка был измучен настолько, что уже не плакал, только открывал рот.

Женщина с ребенком бежала по городу и не знала, куда бежит.

Ночной патруль без окрика стрелял в первого попавшегося на глаза.

Валентина Ивановна стремилась уйти как можно дальше от вокзала. Но ее задержали, и она оказалась в немецкой комендатуре.

— Бросьте ее в подвал! Это разведчица! — сказал немецкий комендант.

Ее бросили в подвал, а она уже пятые сутки ничего не ела, голоден был и ее измученный ребенок.

Ночи и дни, проведенные в холодном подвале, стали кошмаром, сплошной пыткой. Время тянулось мучительно медленно.

Она украдкой стала смотреть на орден Ленина.

Подолгу, до боли в глазах, вглядывалась она в серебристый профиль Ильича. И он вселял надежду.

Во рту пересохло, хотелось уснуть, забыться...

Вызывали арестованных, волокли их за дверь, и они уже не возвращались. Но вот уже два дня гитлеровцы никого не вызывали, — забыли, что ли? Последний раз замок щелкнул в дверях позавчера, — с тех пор дверь не открывалась. Люди настороженно прислушивались, но кругом было тихо.

Дети и взрослые мертвецами лежали на сырой земле и мокрой соломе. Некоторые стонали и просили пить, но где взять воды? Изнеможенные и больные люди потеряли всякую надежду на спасение.

— Нет, мы не погибнем, — говорила Валентина Ивановна, когда никто уже не мог произнести и слова. — Мы не должны погибнуть!

Уже умерли две девочки, умерла пожилая женщина, Валентина Ивановна боялась, что Борис тоже умрет в этом сыром подвале. Последние силы покидали и ее. Она уже не могла пошевелить рукой, не могла приподняться, чтобы поправить детское одеяльце. Но она крепко — так казалось ей — сжимала орден.

О, если бы фашисты знали, что у нее хранится!..

В дверь грохнул сильный удар. Еще! Еще!

Дверь треснула и с шумом раскрылась.

— Товарищи, выходите! — крикнул высокий молодой танкист с расстегнутым шлемом. — Ах, сволочи! Что же они сделали с вами!..

— Да ведь это наши! Наши! — сказал кто-то из заключенных. Никто не мог подняться. Валентина Ивановна со слезами радости на глазах едва-едва подползла к раскрытым дверям подвала. Она протянула платочек, в котором был бережно завернут орден Ленина.

Удивленный танкист подозвал своего старшего товарища, и они, поговорив между собой, сейчас же вынесли из подвала Валентину Ивановну и ее умирающего ребенка. Танкисты спасли им жизнь. Спасли жизнь многим...

Валентина Ивановна выздоровела нескоро. А когда вышла из больницы, случайно встретила на улице знакомого летчика и передала ему орден Ленина.

«Петя, — писала она мужу, — я сберегла твой орден Ленина, а друзья твои вырвали у смерти нашего сына.

Защищай нашу священную Родину! Не давай пощады врагам земли нашей и помни о тех ужасных страданиях, которые испытывает наш народ».

...Петр Ильич готовился к очередному полету. На груди молчаливого, задумчивого штурмана я увидел орден Ленина. Это был тот самый орден, № 5023.

VI. ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВА

На следующий день наши бомбардировщики вернулись из Берлина поздним утром.

Едва оставив воздушные корабли, усталые летчики валились на траву и тут же засыпали. Все они дышали тяжело и надрывно кашляли.

Андрей Ефремов, на что уж сильный и крепкий летчик, и то не смог дойти до зеленой лужайки. Заскрежетал зубами, цепляясь синими пальцами за крыло самолета, припал головой к резиновому колесу. Полковой врач подбежал к нему:

— Капитан Ефремов! Вы заболели?

— Да нет же... — с трудом промолвил капитан, учащенно дыша, — мне бы немного передохнуть... одну минуту... Доктор, я прошу вас, не мешайте, не проверяйте пульс, я здоров. Мне нужно отдохнуть... Уйдите... Не люблю, когда близко лекарствами пахнет...

Смушенный врач постоял, пожал плечами.

— Если не трудно вам, — шепотом сказал капитан Ефремов, — возьмите мой шлем и подложите, пожалуйста, мне под голову. Так лучше будет...

Старый медик поднял с земли шлем Ефремова, стряхнул с него пыль и заботливо, по-отцовски, подложил ему под голову.

— Вот так, спасибо... — сказал капитан и тотчас же уснул.

Дыхание у него было тяжелое. Лицо бледное. Щеки впалые.

К самолетам примчались крытые автомобили, чтобы отвезти летчиков на отдых в домик за рекой. Но будить их, таких усталых, было жаль.

Полковник Преображенский лежал лицом к небу, положив голову на круглый серый камень, оказавшийся поблизости. Хохлов сидел у колеса самолета и спал. Ко-

мандир эскадрильи Михаил Плоткин склонился к штурману Хохлову. Один Василий Гречишников стоял перед собравшимися, заложив руки за спину.

Покой. Минута отдыха.

Кто-то сказал шоферам:

— Да выключите вы моторы... Вашего шума не хватало...

На аэродроме тишина. Только на берегу залива плескались волны.

Неслышно, будто на крыльях, на аэродром примчался голубой «ЗИС». Дверца автомобиля открылась, тихо клацнул язычок замка. Человек в морском кителе, выйдя, осмотрелся, тихо подошел к летчикам и все понял. Это был генерал авиации. Он присел на корточки у головы полковника.

— Устал герой, — тихо сказал он. — Да, все вы устали. Но что поделаешь, долг Родине. Время придет — отдохнем...

Их сон был крепким и безмятежным.

— Товарищ полковник, поднимитесь! — сказал генерал.

Полковник вскочил, услышав знакомый голос, протер глаза:

— Простите, генерал... Я что-то... Пятиминутный отдых... Разрешите доложить? Вверенный мне полк задание партии выполнил!

— Потом... потом доложите, — спокойно сказал генерал и горячо поцеловал полковника. Затем он развернул бумагу:

— Это вам! В Москве уже все знают. В Москве ваш каждый шаг известен. Спасибо! Молодцы!

Полковник пробежал глазами по бумаге. И руки его задрожали:

— Друзья, товарищи, нам письмо из Москвы! Правительственное письмо! Нас благодарит партия, — и так с поднятой рукой застыл. «Товарищи, — читал он, — от имени правительства поздравляем вас — летчиков, штурманов, стрелков-радиотов, инженеров и техников и весь ваш личный состав — с достигнутыми успехами».

— Ура! — прокатилось по аэродрому.

И тут же поклялись: ударить по фашистскому логову, не откладывая, этой же ночью, еще сильнее...

— Ура!

...Спустились сумерки. Поднялись переливающиеся

серебром звёзды. Над истерзанными войной полями светил месяц.

Короткий отдых закончился. Все были в сборе. Не было только старшего лейтенанта Афанасия Ивановича Фокина.

Как этот человек нужен был сейчас!..

Бомбардировщики уже выруливали на старт, когда в воздухе над аэродромом загудели моторы. Кто это? Летчик просит разрешения на посадку. Но какая же сейчас посадка, когда самолеты идут один за другим на старт, поднимаются в воздух... Как это некстати!

— Кто там болтается, черт подери! — выругался начальник штаба. — Вот летчик, святитель царя небесного... Самолет-то наш, советский... Не Фокин ли?.. Но что он делает?! Лезет без разрешения на посадку...

— Быть может, он без горючего? Приостановить выпуск самолетов! Передайте, товарищ дежурный, на старт..

Капитан Бородавка выходил из себя:

— Черт знает, что это такое? Задержка важнейшей операции. Безобразие!

— Вы разрешаете посадку этому партизану? — спрашивает дежурный.

— Разрешаю, — гневно машет рукой начальник штаба.

— Есть разрешить посадку, — повторил дежурный и позвонил на старт,

Зажглись посадочные сигналы. Самолет плавно коснулся колесами бетона, пробежал положенную дистанцию и остановился, грохоча моторами, возле командного пункта. Летчик, видно, сообразил, что ему надо немедленно очистить взлетное поле, и с ходу подрулил к начальнику штаба.

— Ну что за лихачество? — негодовал тот. — Что за лихачество? Куда это он прется! Нет, это не наш! У нас таких бестолковых летчиков на моей памяти еще не было...

Моторы затихли, и из кабины вылез грузный улыбающийся Афанасий Иванович.

— Батюшки ты мои, Фокин! Видали вы, — крикнул Бородавка и давай обнимать Фокина, давай целовать его, приговаривая: — Где же ты пропадал? Ты же нам едва не сорвал вылет... Задави тебя, окаянного... — И, махнув рукой, спросил: — Здоров ли?

— Здоров.

— Лететь сейчас можешь?

— Могу. Заправка только нужна. Машина исправна, обо мне не беспокойтесь!

— Заправить самолет Фокина, — распорядился начальник штаба. Бородавка уже знал, что у Фокина была вынужденная посадка из-за горючего, из-за нее он задержался.

— Есть заправить... — послышалось за перегородкой. Раздался телефонный звонок на заправочный пункт.

— Но ты по совести скажи, отдых тебе нужен?

— Какой теперь отдых!

— Маршрут свой знаешь?

— Знаю: Берлин!

VII. БЕССТРАШИЕ РУССКИХ

Много и в этот раз полетело летчиков: Преображенский, Плоткин, Гречишников, Фокин, Трычков, Ефремов, Хохлов, Ермолаев.

Луна не выплыла из-за суровых туч, бредущих густыми толпами. Стремительные, злые, косматые, они обгоняли друг друга, разрывались, снова сталкивались, как будто смертельную битву вели за эту маленькую, лишь временами мерцавшую сквозь них луну. Вспыхивающие на один миг звезды тоже бесследно пропадали. Потом серые тучи как бы столкнули луну в пропасть и сами понеслись к земле.

Земля и небо заволоклись серым туманом.

...Моторы гудят. Стальные пропеллеры вгрызаются в тьму и разрывают эту ползущую паутину туч.

— Ох, штурман, — вздыхая, говорит полковник, — не к добру разбушевалась сегодня погода.

И штурман соглашается:

— Да, пожалуй, не к добру.

По стеклу кабины бьют, как камни, капли дождя. Все кругом звенит.

Полковник идет головным, едва различая другие самолеты.

Флагманский штурман Хохлов прокладывает путь. Корабли качает. Но они идут.

В кабинах кипит работа. Сигналият штурманы. Наперекор всему, вцепившись в штурвал, полковник глядит на приборы, нажимая педали.

За стеклом его кабины, сзади дежурят двое — бесстрашный стрелок-радист Кротенко и стрелок Руденко.

Один в нижнем люке прижался к холодному полу у пулемета. Другой — в верхней турели.

Они часовые в полете. Довериться ночи нельзя.

Температура падает. Тридцать четыре... сорок четыре и, наконец, пятьдесят...

Корки прилипших к стеклу кристаллов льда слезятся, сползают, медленно тают.

«Забраться повыше?» — прикидывает полковник. Но выше забраться нельзя — самолет, словно льдина, закачается и повалится... Потолок!

«Спуститься ниже?» Тоже нельзя, — машина сразу обледенеет во мгле.. Только серединкой идти, по узкой слоистой, туманной дороге. Эта дорога может их спасти.

Всё на пределе. — и нервы, и воля.

Вдруг берег залива мелькнул и исчез.

Фокин шел сзади и решил не сдаваться. Вплотную приблизился к самолету полковника, крыло своего самолета едва не положил поверх его крыла, да так и поплелся с полковником рядом, словно в обнимку.

— Слушай, Хохлов, я только что видел вражеский берег. Дойдем? — спросил полковник.

— Не сомневаюсь, полковник, конечно дойдем.

И снова двенадцать тяжелых машин рассекают воздух. За ними другие, потом еще. Они движутся тяжелой воздушной дорогой на запад.

Тройка налево. Один впереди. Тройка направо. Один впереди. Тройка по центру... Впереди — это полковник!

Луна чуть сверкнула. Полковник берет повыше. Шесть тысяч паскреб! Рука его тянется к кислородным приборам.

— Кротенко, Кротенко, — зовет штурман Хохлов радиста. — Что ты поделываешь? Дышать тяжело?

— Тяжело, — приходит короткий ответ.

Настойчивый Фокин все еще почти висит на крыле полковника.

— Кто тут повис у меня на крыле? Избавиться надо... Тоже сосед мне пашелся. Можно столкнуться.

— Лучше, конечно, огойти. — Штурман передает об этом радисту.

Тухнут огни... Но Фокин идет по вспышкам моторов. Не отстаёт, висит по-прежнему.

Полковник бросается вниз... Бросается вверх. Фокин висит! Полковник прибавил скорость. Скользнул. Бесполезно.

— Ну, шут с ним... Пусть так идет...

Он больше не пытается отвязаться от Фокина.

Внимание его приковано теперь к работе моторов. Правый мотор заметно сдает. Глухой, завывающий стон слышен все громче и громче.

Полковник вспоминает, что перед полетом он случайно не условился, кто поведет самолеты, если он выйдет из строя.

«Вернуться?» — мелькнула мгновенная мысль.

Но что значит вернуться ему, командиру? Это значит, что все самолеты, не зная, в чем дело, вернутся за ним. Нет, возвращаться теперь невозможно.

Сотни тяжелых бомб, висящих под крыльями! Долгая работа оружейников. Много часов подготовки моторов — и все это впустую? Нет!..

Самолеты идут рядом с ним, стремительные... Гудят... Никто ничего не знает. Как же он может вернуться?

Полковник решает: лететь вперед. Что бы ни случилось — лететь! Пусть никто ничего не знает. Штурман, конечно, слышит мотор. Но разве у штурмана мало своей работы?

Прожекторы обнаружили их далеко за городом. Из темноты выскочили истребители-перехватчики.

Ночью воздушный бой вести трудно, да это и не входит в их расчеты. Они не могут, не должны открывать пулеметный огонь.

Перехватчики блеснули фарами, прогудели под крыльями бомбардировщиков. Когда вражеские лучи мелькнули по самолету полковника, Кротенко не удержался — открыл стрельбу. Фары исчезли. Два истребителя трусливо шмыгнули вниз, едва не задев пропеллерами металлических крыльев.

Ночью в небе — словно в пустыне.

Тучи рассеялись. Горизонт открылся. Продолговатые плоские силуэты бомбардировщиков упорно продвигаются вперед. Летчикам кажется, что трудности уже миновали. Но они только начались.

Вскоре в кабине полковника отказал главный компас. Преображенский сжал зубы, но остался спокойным. По-

том перестал действовать и гирокомпас. Полковник еще сильнее стиснул челюсти.

Он не торопился сказать об этом штурману. Но дальше молчать было нельзя:

— Товарищ Хохлов, учти, дорогой. — Я иду дальше, но... вышли из строя оба компаса.

Глухая, жестокая ночь. Длинную песню поют моторы. Семь тысяч метров — высота. Полковник знает, что спасет только терпенье. Терпенье и выдержка! Но как досадно! Будто назло все беды свалились сегодня. Страшная ночь!

Только теперь, да, именно только теперь, он чувствует сильную боль в голове. Вялые руки не слушаются. Липкая, теплая кровь...

Кто же поведет самолеты?

Штурман Хохлов снимает шлем. Накрывает и греет компас. Снимает носки. Обматывает ими главный компас. О себе не думает в такую минуту. Смерть смотрит в глаза, бродит в кабинах. А нужно дойти, во что бы то ни стало дойти. Сбросить все бомбы. Всех довести. Дотянуть... Выполнить клятву. А дальше?..

Рвется дыхание. Силы иссякают.

Он тянется к аварийному крану. Кран близок. Но как он далек!

Ну, вот он все же включается.

Искры блеснули в глазах... Как неподатливо и тяжело включается этот кран! Но разве можно так щедро расходовать кислород?

И он постепенно убавляет животворную струйку.

Вышла из туч золотая луна. Что это? Мимо, к земле полетел самолет. Плоткин свалился? Видно, сознание потерял и выпустил штурвал?

Нет! Вот он, Плоткин. Нашелся. Поднялся почти от земли. Должно быть, успел включить аварийный кран. Небо открылось. Желанное небо. А под ним вот он—Берлин. Сегодня Берлин не такой, как был тогда. Он словно прижался к земле. Затемнился. Только тонкие вспышки огня вырываются из труб электростанций.

Над центром Берлина по сигналу самолеты расходятся врозь. Первый квартал запылал. Видны улицы, площадь, дома и заводы.

Новые вспышки пламени. Это Фокин подоспел. Бом-

бы упали потоком. Еще, еще! Сегодня в Берлине хозяева — балтийцы.

Теперь, когда весь город освещен, когда отчетливо стали видны в пламени пожаров военные заводы, мосты и дороги, летчики приступают к работе.

Зенитный огонь клокочет, вниз, вверх.

Рушатся заводские кварталы.

Превращаются в обломки квадратные склады снарядов.

Рвутся районы хранилищ мазута-бензина.

Тонны металла таранят землю. Чудовищной силы грохот врывается в притихшие улицы.

Василий Гречишников взрывает четвертый немецкий квартал бое складов. Он мстит за жену, которую немцы пытали в Белоруссии, в Петрикове, он мстит за годовалого сына, за свою двухлетнюю дочку, за мать, которую растерзали в Николаеве, в городе, где он сам родился, где был мальчишкой, где вырос и стал летчиком. За Николаев!

Михаил Плоткин, когда Гречишников вырывается из пике, идет навстречу ему на самых больших скоростях. Он поддерживает силу его удара. Штурман Троцко сбрасывает бомбу за бомбой.

Вверх и вниз мчатся самолеты, встречаясь, как орлы, делая глубокие развороты над полыхающими складами, чтоб пламя не затихало.

Немецкие зенитчики пытаются заслонить город убийственным шквалом огня. Но воздушные корабли, покачиваясь от взрывов, взлетая в их плотных каскадах, залитые светом прожекторов, не отступают.

Труднее всех приходится полковнику. Вся сила огня направлена на него. Но и Преображенский, и Хохлов не торопятся выйти из этой зоны огня. Они через каждые пятнадцать минут сбрасывают очередные бомбы.

И вот зенитки захлебываются. Они стреляют очень энергично, но уже не могут наблюдать результатов своего огня и, наконец, смолкают.

Ослепли немецкие прожектористы. В последний раз длинные белые и фиолетовые ослепляющие лучи упали поперек Берлина в четыре двадцать утра. Прожектористы не выдержали. Они сложили свои скрестившиеся лучи на землю и сдались.

В баках ночных истребителей не хватало, должно быть,

бензина. Последний истребитель промчался на северо-запад от Берлина и там, видимо, спустился. Больше немецких истребителей нет в воздухе.

Советские летчики сделали свое дело. Перед рассветом они покидают город. Прошла усталость. Забылись тревоги этой памятной ночи. Но сделанное не забудется. На следующий день Советское информбюро поведало всем:

«В ночь с 15 на 16 августа имел место новый налет советских самолетов на район Берлина и отчасти на Штеттин. На военные и промышленные объекты Берлина и Штеттина сброшено много зажигательных и фугасных бомб большой силы. В Берлине и Штеттине наблюдалось большое количество пожаров и взрывов. Все наши самолеты вернулись на свои базы».

— Ну и прилипчивый же ты мужик, товарищ Фокин, — в шутку сказал полковник, когда оба сели обедать. — Как прицепился ко мне в России, как лег на крыло, так и не отстал до Берлина. Что за нежности! Тебе, Афанасий Иванович, видно, хотелось спать?

— Да нет, товарищ полковник, — смеясь, ответил Фокин, — я просто боялся опять отстать. Страховку устроил, я знал, что с вами я непременно дойду.

Я вернулся в город, в свой дом.

...Кто-то стучит в дверь. Я не успел подняться. Входит Преображенский и, окинув всех взглядом, идет к моему отцу. Отец мой умирает...

— Отец, — тихо говорит полковник, — разве ты не узнал меня?

Отец потянулся к нему, упираясь слабыми локтями в подушку.

— Неужели ты не дотянешь до нашей победы, отец? Дотянешь! Крепись!

Полковник долго смотрит в безмолвное лицо, в мутнеющие глаза старика и тихо плачет.

Отец сознавал, что уже умирает, что больше не будет в строю, со всеми, — отработал все до последнего, все сделал, что мог сделать в жизни. Голод сломил его! Зрачки старика тускнеют. Он силится что-то сказать, но не может.

Где-то далеко в глубине его глаз вспыхивают и угасают искры надежды на жизнь. Но... это несбыточные надежды.

Отца моего убили гитлеровцы! Я смотрю на старенькую, седую мать, гордую и терпеливую, и мне не хочется думать о том, что и она, бедная моя мать, уже на грани смерти. Сколько теперь их, таких матерей, в Ленинграде!..

— Ну, что ж, — тихо говорит мать, вытирая дрожащей рукой слёзы, — отец наш ушел, отвоевался. Его жизнь ничем не омрачена перед народом. С малых лет он честно трудился и служил, сколько мог, революции... Евгений Николаевич, — обращается мать к задумавшемуся полковнику, — теперь нас двое осталось, ты будешь моим сыном, а сыну моему — братом. Идите... Вы там нужны... на фронте.

— Мама, — собравшись с мыслями, говорит полковник, — мы не забудем вас... крепитесь, мужайтесь! Вы настоящая мать, — и он обнимает ее как сын, крепко целует...

Как лживо выглядела гитлеровская информация, говорили письма, которые были красноречивее всяких сводок. Вот строки короткого письма. Их написала Анни Реннинг своему мужу-солдату, убитому под Ленинградом:

«Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже стоит нам миллионов убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Последнее время днем и ночью к нам прилетают бомбардировщики. Нам всем говорят, что нас бомбили англичане. Но нам точно известно, что в эту ночь нас бомбили русские. Они мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб весь сотрясается... И вообще, я скажу тебе: с тех пор, как появились над нашими головами русские, ты не можешь себе представить, как теперь нам стало скверно.

Начался тяжелый месяц...

Родные Вилли Фюрстенберга, ты это хорошо знаешь, служили на артиллерийском заводе. Завода больше не существует! Родные Вилли Фюрстенберга погибли под его развалинами.

Ах, Эрнст, когда русские бомбы падали на заводы Симменса, мне казалось, все проваливается сквозь землю.

Зачем вы, Эрнст, связались с русскими! Неужели нельзя было найти что-либо поспокойнее.

Я знаю, Эрнст, ты скажешь мне, что это не мое дело, что ты убежденный социалист... Ну знай, мой дорогой, что здесь, возле этих проклятых военных заводов, жить невозможно! Мы все находимся словно в аду. Пишу я серьезно и открыто, ибо мне теперь ничего не страшно! Я ничего не боюсь... Зачем вы...

Предчувствую, Эрнст, пока дойдет до тебя мое письмо, если мне удастся донести его к почтовому ящику, в это время меня не будет в живых. Эрнст... Уже гудят! Я несу письмо.

Прощай! Всего хорошего.

Твоя Анни».

А вот другой листок, рваный клочок бумаги. На конверте жирный штамп.

«Мой милый Генрих, пишет твоя невеста. Мы сидим в подвалах. Я не хотела тебе писать об этом... Здесь взрывались бомбы. Разрушены многие заводы. Мы так измучились и устали, что просыпаемся только в момент разрыва бомб. Вчера с половины двенадцатого и до половины пятого утра хозяйничали летчики. Чьи? Неизвестно. Всякое говорят. Нам было очень плохо. Я начинаю бояться каждой наступающей ночи. С Брунгильдой мы пошли в бомбоубежище. Там сказали, что это были русские летчики. Подумай только, откуда они летают. Скажу тебе, что у нас каждую ночь воздушная тревога. Иногда два или три раза в ночь. Мы прямо-таки отчетливо слышим, как русские ползают над нашими головами. Они бросают адские бомбы. Что же будет с нами? Генрих?»

Еще одно письмо. Голубой конверт не распечатан.

«Сегодня; после маленького перерыва, мы снова в бомбоубежище: в первый раз от двенадцати до двух часов, потом еще раз с трех часов. К сожалению, сигнал воздушной тревоги дают слишком поздно, когда самолеты уже прилетают и сбрасывают бомбы. С субботы на воскресенье бомбили наш Берлин, и с воскресенья на понедельник бомбили, и с понедельника на вторник бомбили. Прилетают русские и англичане в неделю столько раз,

сколько эта кошмарная неделя содержит в себе рабочих дней, не исключая воскресенья. Весело нам теперь живется.

Целую тебя *твоя Хильда*».

Это были документы огня, войны и смерти.

В одной из газет сообщалось, что видный американец, недавно прибывший в Англию из Германии, заявил, что население Берлина воспринимает бомбардировки совсем не так, как англичане.

Берлинцы не могут переносить воздушных налетов. После объявления воздушной тревоги они начинают метаться... Каждое германское сообщение об интенсивном налете на Англию и Москву вызывает чувство страха у всех жителей Германии. Они боятся ответных налетов.

Касаясь бомбардировок Кельна, американец заявил, что в течение четырех ночей никто в городе не спал. Пять бомб крупного калибра попали на центральную железнодорожную станцию, почти полностью уничтожив ее. На станции много убитых.

В общественных местах и на стенах разрушенных зданий все чаще и чаще появляются надписи: «За эти бомбардировки мы благодарим нашего фюрера!»

Сообщалось, что бомбились центры военной промышленности. От разрывов бомб в небо поднимались огненные столбы, даже с самолета видно было, как рушились здания в городе. Промышленный район Берлина северо-восточного центра горел от одного конца до другого.

«Прошлой ночью, — как сообщал корреспондент ТАСС, — мощное соединение бомбардировщиков атаковало центр Берлина. На город были сброшены бомбы самого крупного калибра. Налет был произведен со всех направлений. Только после падения первой бомбы начались выстрелы зенитной артиллерии. Налет продолжался до двух часов ночи. Бомбардировщики несколько раз пролетали вокруг Берлина. Зенитная артиллерия не успевала концентрировать огонь на отдельных самолетах. Значительное количество зажигательных бомб было сброшено в западном районе города. Затем были сброшены фугасные бомбы, которые вызвали значительные взрывы.

Пожары, следовавшие за тремя особенно большими взрывами, были видны на расстоянии 125 километров».

Корреспондент из Нью-Йорка сообщал:

**«Разрушения в Берлине и Гамбурге в результате
воздушных бомбардировок**

Нью-Йорк. 21 августа. По сообщению лиссабонского корреспондента агентства «Оверисис Ньюс», нейтральный наблюдатель, прибывший из Берлина, передает, что воздушные налеты советской и английской авиации на германскую столицу становятся все более эффективными. В результате прямого попадания сильно повреждены Штеттинский вокзал в северной части Берлина и железнодорожная станция Вицлебен в западной части Берлина. Это серьезно дезорганизовало железнодорожное движение. Особенно сильные взрывы были на станции Вицлебен. Разрушены здания, отстоявшие от станции на несколько кварталов. Сильной бомбардировке подверглись промышленные районы Берлина, расположенные в западной части города, главным образом Шпандау и Лихтенфельде. В районе Берлина разрушено или повреждено большое количество заводов. Во время последних двух налетов на Берлин сигнал воздушной тревоги был дан уже после того, как бомбы были сброшены на город».

Лондонский корреспондент агентства «Ассошиэтед Пресс» передавал, что один нейтральный дипломат, выехавший из Гамбурга две недели назад, свидетельствует, что воздушные бомбардировки причинили Гамбургу очень большой ущерб.

«От центрального вокзала, — сообщал нейтральный дипломат, — до главной улицы — Менкебергштрассе, на которой стоят восьми- и девятиэтажные здания, в результате разрушений домов сообщение было приостановлено на много дней»:-

По словам того же дипломата, поезда, отходящие в восточном направлении, не могли отправляться от поврежденного вокзала. Поэтому конечный пункт был перенесен на старый вокзал, закрытый тридцать лет назад. Разрушены здания Немецкого банка, биржи и другие. Многие дома, расположенные на набережной канала Альмтерфлет, эвакуированы в связи с тем, что вода залила

подвальные помещения. Крупнейшие гамбургские верфи «Блом и Фосс» пострадали до такой степени, что с горы Бисмарка нельзя увидеть ни одного подъемного крана или какого-либо крупного сооружения».

Еще сообщалось, что «сортировочная станция Силезского вокзала, через которую проходили поезда на восток, была выведена из строя на несколько дней. Половина корпусов крупного завода «Ауэргезельшафт» (в восточной части Берлина), выпускающего радио- и электрооборудование, уничтожена».

VIII. СЫНОВЬЯ

В доме четыре высоких окна, светлая верандочка, крытая тесом, два слуховых окошка. На башенке тонкий, невысокий шпиль. Сюда часто приезжали военные из Москвы, Ленинграда и из штаба флота. Все, кто побывал в этом доме, надолго запоминали резные ставни, открытые настежь веселые окна, пологие ступеньки и стеклянную круглую синюю ручку на парадном крыльце.

В доме ничего лишнего. Посередине просторной комнаты большой стол, крытый голубым сукном, графин с водой. Вокруг стола несколько простых стульев.

В этом домике собрались летчики Преображенского. Вскоре к крыльцу подъехала синяя машина. Шофёр открыл дверцу. Вышли член Военного Совета Балтфлота, командующий флотом, вице-адмирал, член Военного Совета Ленинградского фронта.

Четыре человека сели за столик. Один из них открыл чемоданчик. Хрустнула тонкая крышка; словно курок винтовки, щелкнул замок. На стол легли пять плотных коробочек.

Командующий открыл одну из них.

— Она, — сказал он, вынув «Золотую Звезду», — принадлежит Преображенскому.

Яркие лучи, искрясь и играя, упали на скатерть, и тонкие блики пятью светящимися нитями мелькнули по комнате.

В это время на пороге остановился полковник.

— Позвольте войти, — сказал он.

— Входите, — поднялся навстречу командующий, — пусть все войдут.

Вошли летчики. Сняв шлем, полковник сел ближе

к столику. Хохлов — рядом. Ефремов — справа. А несколько поодаль, волнуясь, сел усталый Плоткин. Командующий прочел Указ Верховного Совета:

— «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и героизм присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

1. Капитану Гречишникову, Василию Алексеевичу.
2. Капитану Ефремову, Андрею Яковлевичу.
3. Капитану Плоткину, Михаилу Николаевичу.
4. Полковнику Преображенскому, Евгению Николаевичу.
5. Капитану Хохлову, Петру Ильичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Горкин

— За ваш редчайший подвиг, — сказал командующий, — за ваш беспримерный поступок... Так пусть живет, полковник, ваша слава, слава ваших летчиков, пусть она не меркнет никогда! — заключил командующий, подошел к герою и крепко обнял. — Вы оправдали доверие народа!

— Штурман Хохлов! — произнес Член Военного Совета, — вы совершили беспримерный подвиг. За этот подвиг вас награждает правительство.

Не спеша, он прикрепил к синему разглаженному кителю Хохлова второй орден Ленина и «Золотую Звезду».

— Летчик Ефремов!

— Есть — летчик Ефремов!

Высокий чернявый Ефремов поднялся. Он взял бережно футляр, крепко пожал руку генерала.

Подошел капитан Михаил Плоткин. Он волновался.

— Спасибо партии, спасибо народу, — тихо сказал он. — Я очень волнуюсь. Простите.

Руки капитана дрожали. Ему помогли: орден Ленина и «Золотую Звезду» приколоты к кителю товарищи.

— Сыновья, — сказал тихо командующий, когда очередь дошла до Гречишникова, — на вас лежит долг — мстить гитлеровцам за героя Гречишникова, которому не удалось получить свою награду.

— Пусть будет так, — сказал полковник, — пусть дорога на Тихвин станет смертным путем для немцев!

К столу подошел Афанасий Фокин. Он только что вошел.

— Вот ваш орден Ленина! — сказал член Военного Совета.

Фокин взял орден Ленина и поцеловал его.

— Дашковский...

Но Дашковского не было. Он погиб несколько дней тому назад.

Все молча встали и отдали долг товарищу.

— Трычков, Петр Николаевич, вы награждены орденом Ленина.

— Служу Советскому Союзу!

— Егельский, Иван Васильевич.

Егельский в тот день был на линии фронта.

— Сержант Кротенко Владимир Макарович.

— Я — Кротенко. Я здесь!

— Вы награждены орденом Красного Знамени!

— Спасибо, товарищ командующий, — сказал Кротенко, — я скоро к вам снова, наверное, приду. Я в новый полет иду!..

Все улыбнулись.

— Старший сержант Иван Рудаков.

— Есть — Рудаков!

— Красное Знамя!

Сыновья Балтики ушли, ободренные народом.

Маленький чистый домик остался в тишине среди деревьев.

IX. МЕЧТЫ ПОЛКОВНИКА

На полу лежит огромная голубовато-водянистая военная карта. Она закрыла собой почти весь пол комнаты. Красный карандаш полковника скользит от одного угла карты к другому. Карандаш в секунду пробегает тысячекilометровые расстояния.

— Турр-ррум... турр-ррум... Турр-ррум-тум-тум... Тум-туррум! Стоп! — разговаривает сам с собой полковник.

В комнате тихо. Полковник, не замечая, что я вошел, поет знакомую песню:

Черный ворон, что ты вьешься
Над моею головой?

Ты добычи не дожدهшься,
Черный ворон! Я не твой.
Ты лети-ка, черный ворон,
К нам на славный тихий Дон...

На полковнике только нижняя белая рубаша, широкие морские штаны, на ногах белые шерстяные носки.

Полковник чем-то напоминает мне Василия Ивановича Чапаева. Да, в нем есть что-то такое, мудрое, смелое, чапаевское.

— Полюби меня, девица,
— Что же скажет вся станица?
Я с другим обречена...
— Твой жених теперь далече...

Карандаш лихо свистнул, перечертив зеленую карту, и стал перпендикулярно в центре.

— Евгений Николаевич, — спрашиваю я тихо. — Я не помешал вам?

— Нет-нет! Входи, смотри. Вот он, Берлин! Вот Данциг! Вот Кенигсберг! — быстро указывает он карандашом на другие города Германии. — Мы должны подвергнуть их бомбардировке, и в самое ближайшее время.

— Но ведь начнут трубить, что мы подвергаем бомбардировке мирное население?

— Мирное население! — восклицает он. — Гляди! Берлин — один из крупнейших городов мира, политический и экономический центр «третьей империи», средоточие военных и промышленных предприятий. Вокруг города расположено до 60 крупнейших аэродромов, позволяющих базироваться большому количеству немецких самолетов самых различных классов и родов авиации. В Берлине 24 железнодорожных станции, 10 самолетостроительных заводов, — вот они, 7 авиамоторных, — вот они, — он указывал их на карте, — 8 авиавооружения, 9 — военно-химических, 7 — артиллерийского вооружения, 22 — станкостроительных и металлургических, — вот они! Сюда надо добавить еще 7 заводов электрооборудования, 7 электростанций и 13 газовых заводов.

Затем полковник дал полную военную характеристику германскому торговому порту на Балтийском море — Штеттину, третьему по значению после Гамбурга и Берлина.

— Все эти города являются серьезными объектами для наших ударов по гитлеровской Германии. И нам сей-

час следует расширить поле деятельности бомбардировочной авиации. Я уже внес такое предложение командованию.

— И что же? Какова точка зрения Главного командования?

— Одобрили! Мы первые проложили трассу в Берлин. Наше начало поддержат другие...

Он расчертил карту на секторы, и я понял, какая сила удара предназначается для фашистской Германии.

— Да, это будет. Это должно быть. Непременно! Чем дальше мы будем забираться в тылы фашистской Германии, тем больше она будет держать своей авиации не у нас, варварски разоряя мирные города и села, а у себя дома. А это уже хороший выигрыш. Наши удары будут непрерывно возрастать. Мы не дадим нормально работать их военной промышленности. Мы будем пробуждать немецкое население, которое сильнее и яростнее станет ожесточаться против кровавого гитлеризма. Война, друг, есть война! На войне даже убить могут... Вот завод «Цеппелин». Он производит сборку и испытание немецких самолетов. Его производительность — 250 самолетов в месяц. Не можем же мы шадить его! А вот авиазавод «Арадо», авиазавод «Хеншель», авиазавод «Фокке-Вульф», завод самолетных винтов «Шварц», завод приборостроения «Симменс» и так далее...

Полковник задумчиво, с грустью сказал:

— Когда я побывал в Ленинграде и узнал, как гитлеровские летчики «работают» по ленинградским жителям, я долго об этом думал... И теперь пусть не осуждают нас. Такова логика освободительной и справедливой отечественной войны. Тут никуда не денешься. Он, враг, будет убивать моего сына, а я должен шадить его?! Нет, нет и нет!.. Они бросают на Москву, на Ленинград бомбардировщики сотнями, а мы будем посылать на их города — тысячи. Пусть гитлеровцы узнают цену своего «блиц-крига»...

Я прилег на кровать, а Преображенский все расчерчивал карту — готовил необходимые данные для новых ударов по тылам Германии. Под утро я стал засыпать и сквозь сон слышал:

Черный ворон, что ты вьешься
Над моею головой?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон! Я не твой.

Х. ПОЧЬ НА 27 АВГУСТА

Преображенскому принесли ворох газет, писем, сводок с различных фронтов войны.

Полковник набросился на них — читал быстро и подчеркивал что-то карандашом.

Вдруг его лицо помрачнело, окаменело...

Он молча указал на письмо. Страшное письмо! Мы читаем его и не знаем, как на него ответить? Что сказать? Какие найти пути, чтобы помочь семье летчика Гречишникова перенести его гибель. Она, бедная женщина, пишет письмо и ничего еще не знает о гибели мужа.

Невидящие глаза полковника устремлены в голубизну окна, через которое видны верхушки зеленых деревьев и маленький клочок неба. В тяжелом раздумье он произносит:

— Нет, так дальше продолжаться не может! Несчастливая женщина! Что с ними сделала война! — Он садится за круглый стол, снова читает:

«Вам пишет жена летчика Гречишникова, Ксения Николаевна. Меня взволновала весть о награждении моего мужа. Я решила рассказать вам подробно о нашей жизни. С Василием я встретила совсем девочкой, в шестнадцать лет. Жизнь наша была прекрасна, у нас было много общего: Василий любил спорт — так же, как и я. Мы с ним всегда были вместе: на катке, на стадионе. Но вот настал страшный день нашей разлуки.

Перед войной мы приехали в Петриков, к моим родным. Вскоре после этого Василия отозвали в часть, а я осталась с детьми у родных, и вдруг — война! Всеми силами рвалась я к нему, но уехать от нас было очень трудно. И куда? А сынок, девятимесячный Анатолий, был к тому же сильно болен. В ту злосчастную ночь, когда наступали гитлеровские изверги, умер мой мальчик. На второй день наше местечко заняли немцы. Все это время я ничего не слыхала о Васе и толком ничего и сейчас не знаю.

Ворвавшись к нам, фашистские изверги выгнали всех людей за двадцать пять километров, в соседнюю деревню, а сами остались грабить. Когда мы вернулись, то увидели, что дома все открыты, окна выбиты, а все, что было зарыто в землю, выкопано и взято.

Начались страдания: мы были полуголодные, а иногда и вовсе голодные, без угля, без теплой одежды. Немцы стали гонять нас на работы — таскать кирпич, выполнять все их прихоти. Нашлись такие, что сказали, что мой муж советский офицер, и меня стали ежедневно таскать в комендатуру. Били нагайками, спрашивая, коммунист ли мой муж. Каково было жить, когда каждую минуту я ждала смерти. Но вот выжила...

Здесь, в неволе, я узнала, что мой Вася — Герой. Я в этом никогда не сомневалась. Горжусь им и благодарю вас, командира. Надеюсь, что мы встретимся с Васей, подробно поговорим обо всем... Письмо переправляю с надежным человеком...»

Мы были потрясены этим письмом. Перед нами предстал образ любящей женщины, которая, стоя на краю гибели, горячо и непреклонно верила, что Василий Алексеевич жив, что он отомстит за страдания, избавит их от этого кошмара...

— Эту августовскую ночь я никогда не забуду, — сказал полковник.

«В ночь на 27 августа наши самолеты снова бомбардировали военно-промышленные объекты Берлина. Данцига, Кенигсберга и других городов восточной, северо-восточной и центральной Германии», — сообщало на следующий день Совинформбюро.



Часть третья

I. УБИЙЦА

Время шло. Ленинградское небо расчерчивалось вражескими самолетами. В разреженном высотном воздухе тянулись длинные шлейфы бело-дымчатых полос. Происходили непрерывные воздушные схватки. Зенитки почти не умолкали. Дробные звуки пулеметных очередей то и дело отдавались в небе и на земле глухим, захлебывающимся эхом.

Когда мы уходили из Таллина, нам довелось увидеть, как мать защищала своего ребенка. Это происходило на окраине эстонской деревушки.

Взволнованная и бледная женщина шла по шоссе. На ней — сбитый платок, в руке — камышовая плетенка с куском хлеба и термосом. На другой руке — ребенок, завернутый в байковое одеяло. Женщина покидала Таллин, родной уголок и уходила куда глаза глядят. Позади нее осталось полыхающее зарево — город горел, и дым, густой и смрадный, тянулся тучами к небу.

Она шла, широко открыв глаза, в которых застыло безумие, крепко прижимая к себе ребенка. Ребенок громко и надрывно плакал.

Усеянная воронками дорога была пустынна.

Далеко за леском, на порыжевшем холме, взрывались мины. Было гидно, как в воздух взлетала бурая земля, валились деревья, а дым все сгущался и сгущался. Гитлеровцы торопились занять эту высоту, прорваться к реке и выйти на дорогу, чтобы перерезать путь нашей морской пехоте, которая уничтожала на своем пути колонны опьяневших психопатов в рыжих трусиках, в зеленых касках, приставивших приклады автоматов к животу.

Женщина не шла уже, а торопливо бежала.

И вдруг со стороны реки, почти касаясь верхушек деревьев, на бреющем полете, с ревом устремился фашистский истребитель. Нам казалось, что он падает на землю. Но нет. — он начал сыпать пулеметным дождем по этой женщине.

Женщина кинулась в сторону от дороги. Она присела на корточки, крепче прижала ребенка к груди... А он, он потешался, бойко выстукивая пулеметами. Пули свистели над ее головой, рвали землю под ее ногами. Наконец она упала в глубокую канаву, прикрыв собой ребенка. А он все кружился и кружился над нею, стрелял хладнокровно. Стрелял и стрелял.

Яростью, радостью возмездия прозвучал наш крик, когда мы увидели коршуном налетевшего советского истребителя. Его пулеметы говорили громко и отчетливо. Вражеский самолет, объятый пламенем — это произошло мгновенно, — завывая, упал на землю...

Женщина не поднялась. Она была мертва. Рядом лежал простреленный термос, из него вытекало молоко. Раненый грудной ребенок тихо плакал.

А враг, измазанный гарью, встряхиваясь и озираясь, вылез из-под обломков самолета.

На хвосте вражеского самолета были обозначены победы гитлеровца: русская «Чайка», силуэт «Мига»...

Почему мы его не убили?!

...Беловолосый гитлеровец сидел на пеньке дерева, шарил зелеными глазами.

Он дрожал, стараясь улыбаться. Улыбка его, скорее жалкая гримаса, скользила по обвислым векам и по

краям толстых, неприятных губ. Острый нос, выдававшийся вперед подбородок, сутулые острые плечи нервно дергались. Он надеялся сохранить жизнь, верил в нашу гуманность, прикидывал, как себя лучше вести.

— Скажите, вы убьете меня? — съежился Иозеф Штейдель. — Да, — тихо добавил он, — вы имеете на это право. Я понимаю вас. Нас ненавидят здесь, а на родине не представляют, какая ярость горит у русских.

Комиссар спросил, есть ли в плену у немцев советские летчики.

— Нет. Они предпочитают гибнуть вместе с самолетом. Когда машина горит, ваши, как правило, выбирают себе цель побольше и получше, а потом вместе с самолетом летят на нее. Нет ничего страшнее, чем смерть вашего летчика.

— Почему?

— Потому что, когда он умирает, он злой и самый изобретательный. В эту минуту он может натворить черт знает что... Я наблюдал, как горящий самолет бросился на железнодорожный эшелон, — там были снаряды. Какой был взрыв! Сколько погибло людей! Я сам едва спасся. Тогда я написал письмо домой и просил родственников отслужить молитву за то, что смерть пронеслась мимо меня.

Видя, что его не собираются убивать, Иозеф Штейдель разговорился.

— Скорее бы кончилась война, — пробормотал он, закуривая, — может быть, я вернулся бы к себе домой на родину, к семье? У меня есть семья в Данциге. Я стал бы трудиться.

— Это ваше? — спросил гитлеровца комиссар, показывая исписанные листки.

— Мое.

— Мы нашли это под обломками вашего самолета, из ваших записей явствует, что вы...

Комиссар прочитал:

«На станции Сиверская охотились за двумя хорошенькими девочками. Поймали с большим трудом. Разложили по всем правилам симметрии. Кусались, как кошки. Карл Вишоф ничего не добился. Обозленный, он застрелил добычу. Мне кое-что удалось. Жизненная струя переборола мой рассудок! Прости меня бог!»

— Да, это писал я, — ответил он.

Беловолосого убийцу увели в лагерь военнопленных. Он шел и удивлялся, почему русские не пристрелили его тотчас же.

II. ОБЛИЧАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

Романенко прислал лист топографической карты, на котором уместились не только городские районы Ленинграда, но и его обширные окрестности. Карта была подобрана на поле боя возле убитого офицера. К ней была приложена детальная фотопанорама города длиной в четыре метра. На большую глубину панорама охватывала южную часть Ленинграда — от Морского канала до Усть-Славянки на Неве. Самая усовершенствованная оптика позволила гитлеровцам точно зафиксировать на фотобумаге не только общие контуры огромного города, но и купола соборов, фабричные трубы, крупные здания.

На топографической карте впечатан угол, вершина которого упирается в «высоту 112», северо-восточнее Красного Села, — в огневые позиции гитлеровской дальнобойной артиллерии. Соответствующие деления разбивают город на секторы. Те же деления нанесены на панораму. Все наиболее важные ориентиры пронумерованы. Тут и Троицкий собор, и Казанский собор, Храм на крови, церковь у Варшавского вокзала, водонапорная башня. В других секторах показаны — Исаакиевский собор, Смольнинский собор, Театр имени Кирова, Театр имени Пушкина, Невский проспект. Все сделано добротнo, тщательно, на отличной бумаге.

Одно из серьезнейших злодеяний, совершённых гитлеровцами, — это систематические обстрелы Ленинграда. Для обстрела Ленинграда и его улиц, как это установлено, были мобилизованы не только солдаты и офицеры, но и «ученые», и «техники», и крупные промышленники, чьи руки ежедневно обгалялись нашей кровью.

Карта обстрела Ленинграда была издана и размножена в Берлине. Об этом свидетельствует фабричная марка. Фотопанорама выполнена длиннофокусной аппаратурой, специально и по особому заказу изготовленной для съемок Ленинграда. Нам известно, что сводки обстрелов нашего города фигурировали в официальных сообщениях

Гитлеровской ставки. Вся преступная фашистская Германия вела осаду города, ежедневно истребляя его жителей.

Перед нами снимок — тяжелая дальнобойная артиллерия в действии. Пятнадцать гитлеровцев обслуживают пушку, покрытую облаком густого дыма. Они быстро открывают ящики со снарядами. Вся техника приведена в движение.

Вот еще один план Ленинграда. Раньше его можно было купить в любом газетном киоске. Он служил пособием многим туристам, радушно раскрывая перед ними голубые кольца каналов, прямые стрелы проспектов, полукружья исторических площадей. В руках гитлеровцев и эти пособия-планы для туристов превратились в карты боевых операций. Они исписаны цифрами. Каждая цифра — номер «военного объекта». Эрмитаж обозначен № 9, Лекторий — № 174, Институт охраны материнства и младенчества — № 708, студенческий городок — № 162.

Каждому номеру соответствуют артиллерийские данные: прицел, калибры, типы снарядов. Так, по № 736 (школа на Бабурином переулке) рекомендовалось стрелять осколочно-фугасными снарядами, по № 192 (Дворец пионеров) предпочтительно фугасно-зажигательными, по № 723 (крупные жилые здания) и фугасными, и бризантными.

Особо были выделены больницы. Каждая из больниц заштриховывалась красными полосами, снабжалась разъясняющей надписью: объект № 89 — больница Эрисмана, объект № 96 — Первая психиатрическая. Планы эти принадлежали командованию 18-й армии, осаждавшей город. Они были составлены по указанию генерал-полковника Линдемана, генерал-майора Кратцера, генерал-лейтенанта Томашки.

В журнале «Боевые действия» рассказывается о подвигах 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона РКК (резерва главного командования).

Записи в журнале гласят:

«30/XI 1941 г. с 14.01 по 15.00 дивизион обстреливал кондитерскую фабрику.

5/XII 1941 г. с 14.35 до 1.46 дивизион обстреливал 25 снарядами скопление народа на Крестовском острове в северной части Петербурга.

31/XII 1941 г. ночь прошла спокойно; с 19.15 до 19.25 огневой налет дивизиона 40 снарядами по району Варшавского вокзала...»

Генрих Беккер, попав в плен, заявил, что «вторая батарея, в которой я служил, стреляла почти ежедневно. Бывали дни, когда мы выпускали до 400 снарядов. Командир дивизиона майор Вебер по своему усмотрению отдавал приказания на открытие огня, и огонь вели настолько интенсивно, что за три месяца материальная часть выбыла из строя».

Полковник Преображенский внимательно изучает карты, в своем блокноте делает какие-то записи. Теперь у него прибавилось работы. Его бомбардировщикам придется вести борьбу с «кочующими батареями», с дивизионами тяжелых осадных орудий главного гитлеровского командования.

III. ЧЕЛОВЕК-КНИГА

А город стоял. Город Ленина не сдавался. Его люди оказались крепче железа, крепче стали. Но бывало и иное в осажденном городе.

Некий Артур Никандрович жил на Кировском проспекте в доме № 73. Худошавый, седой старик прожил в этом доме тридцать лет. Тихий, почтительный, всем кланялся, всем улыбался.

Старик вставал в шесть часов, обедал в двенадцать, ложился спать в одиннадцать. За тридцать лет его никто не видел под хмельком, хотя все знали, что он употребляет перед завтраком бутылку пива. Всегда он носил разглаженный темно-синий костюм.

Артур Никандрович нигде не служил. Единственным занятием его было собирание редчайших экземпляров книг.

— Артур Никандрович, вы опять книги приобрели? — почти ежедневно спрашивали его соседи.

— А что же мне на старости лет делать, родные мои? — мягко отвечал он. — Вся жизнь моя в книгах.

У него не было жены, не было детей, где-то очень далеко находился единственный приемный сын, инженер металлургического завода, который регулярно присылал старику большие деньги.

Артур Никандрович ежедневно отправлялся в город за книгами.

— Вы посмотрите, — бывало, говорил он соседу Болдину, тоже знатоку книг, — какая прелесть! Форзац! Тиснение! — и развертывал шелковую голубоватую косыночку, в которую была завернута вновь приобретенная книга.

Человек-книга — так прозвали его в доме.

Настала суровая голодная зима 1941 года. Многие соседи старика умерли. Холодным стал дом, темным. Артур Никандрович обессилел, как и многие другие горожане, сгорбился, постарел, на лице высохла желтая, похожая на воск, кожа. Костюм едва держался на нем. Но старик приносил всё новые и новые книги. По многу раз он отдыхал дорогой, присаживаясь на ступеньки домов, и все-таки передвигался.

— Ничего, — твердил старик, — зима пройдет, наступит теплое лето. Терпенье, граждане ленинградцы!

Своим пальто, байковым одеялом, старыми тряпками он закрывал дыры в огромных окнах и защищал дорогие книги от снежной холодной пыли.

Обстановка все осложнялась. Фашистская авиация часто появлялась над городом. В небо, в особенности ночью, взвивались вражеские сигналы-ракеты. Стоял гул от артиллерийской канонады, но жители города делали свое дело — все для фронта! Продолжали работу заводы, фабрики, хлебопекарни. Каменные дома становились дотами, улицы — неприступными крепостями.

А старик все больше и больше сдавал, слабел. Потом он тяжело заболел и слег.

— Артур Никандрович, — сказал управдом, — мы вас отправим в больницу. Там и питание и уход лучше. Вам это совершенно необходимо...

— Нет, я не пойду, — твердо сказал почерневший, высохший, как щепка, старик и ближе пододвинул свою койку к книжным полкам.

Соседи стали приносить ему что могли: хлеб и кипяток. Клавдия, жена дворника, тоже принесла кусок хлеба.

— Кушайте, Артур Никандрович, — тихим голосом проговорила она, — поправляйтесь, вы очень плохо выглядите.

Старик взял хлеб и в тот же день променял его на новые книги: «Российский Жильблаз» и «Пантагрюэль».

После этого Артур Никандрович, протянув еще несколько дней, умер на полу, окруженный книгами. Его похоронили. Книжечку в сафьяновом переплетике величиною с наперсток, которая выпала у старика из бокового кармана, бережно положили на полку. Чтобы сохранить книги, жильцы дома опечатали его квартиру и сообщили об этом в Публичную библиотеку.

...Четыре сотрудника составляли акт об имуществе, оставленном Артуром Никандровичем.

— Какой старик! — сказал один из них. — Накопить столько книг! Каждая стена — стеллаж. Каждая дверь — книжный шкаф. Каждое свободное местечко — это колонны книг. Пятнадцать тысяч томов!

В кладовой — книги, в прихожей — книги, в ванной — старые книги, на полке над входом в столовую — тоже книги.

— Но странно, — сказал другой сотрудник, — книг много, а толку в них нет. Почему книги расположены в таком хаосе?..

Шесть дней разбирали библиотеку Артура Никандровича, и на седьмые сутки все открылось. Из кожаного переплета, самого красивого и дорогого, со звоном упал на пол никелированный предмет.

— Что это? — сказали в один голос сотрудники.

— Револьвер!

Наступила долгая пауза.

— Откроем еще раз письменный стол, — сказал старший сотрудник.

Открыли стол, и только теперь заметили, что ящики стола слегка укорочены. За ними находились другие, наглухо закрытые ящики. Их вскрыли. Там лежали книги, в которых с 1919 года велась бисерная запись наличия рабочей силы на ленинградских заводах и других шпионских сведений. Раскрыли книжку, которая была величиной с наперсток. Дрожащая иезуитская рука записала там над последней датой короткие строки:

«Я все делал, что мог. Разуверился. Вы, очевидно, никогда не придете в этот город. Даю последние три сигнала. Город будет сражаться!»

Это было записано в день смерти Артура Никандровича.

Приехал сотрудник государственной безопасности.

— Да, — сказал он, — последний раз из дома № 73 именно в этот день зарегистрированы три горящих ракеты. Как тонко он маскировался! Мы почти напали на след, но немного опоздали...

— Негодяй, — сказала Клавдия, жена дворника. — Зачем я отдала ему свой последний кусок хлеба! Гадюка!

В квадратном футляре, скрытом со всех сторон книгами, лежала плоская немецкая ракетница. Она свидетельствовала, что неумолимый враг боролся против нас до последнего вздоха.

IV. БАЯНИСТ ПОЛКА

Мы только что прилетели на аэродром. Машина шла в пепельной дымке, в морозящем дожде, который висел над нами, как паутина, застывая на стеклах штурманской кабины, оставляя мелкие ледяные стежки на фюзеляже.

Полковник тяжело вышел из кабины и приказал тотчас же готовить самолеты к боевым полетам.

Инженеры и техники приступили к работе. Мы направились к домику в далеком лесу. Нас догнал комиссар:

— Новости! Наш Тужилкин нашелся! Шифровку получили.

— Нашелся?! — воскликнул полковник. — А что я горю? Тужилкин пропасть не может. Эт-та, батенька, живучий старик...

Усталость полковника мгновенно исчезла. Глаза его повеселели, помолодели.

Отправившись на боевое задание в дурную погоду, Тужилкин радировал с пути: «возвращаюсь на базу», но не вернулся.

Сообщение комиссара было очень хорошей, радостной вестью. И уж совсем все были довольны, когда узнали, что в полк приехали артисты.

Концерт прошел хорошо. Особенно всем понравился баянист Алексеев. Он тонко и чутко аккомпанировал артистам и полностью завоевал симпатии зрителей после того, как выступил с сольными номерами. И «Боевое авиационное попури», и «Синенький платочек», и «Турецкий марш» исполнены были с блеском.

Полковник слушал внимательно.

— Этот баянист, — вслух сказал он, — мне определенно понравился.

Едва фронтовой концерт окончился, полковник взял за руку Алексева и повел его в соседнюю комнату.

— Товарищ Алексеев, не хотите испробовать наш полковой баян?

— С большим удовольствием.

Коснувшись пальцами перламутровых клавишей, Алексеев воскликнул:

— Да ведь это же сказка, а не баян! Мой перед этим гроша не стоит.

— Вам, значит, нравится он?

— Да, очень.

— Тогда пусть этот баян и будет вашим, — сказал полковник.

— Вы шутите...

— Ничуть не шучу. Но вы идите к нам служить. Не ожидали? Подумайте!

— Да что вы... Я ведь еще и близко возле самолета не стоял.

Полковник засмеялся.

Артисты были явно огорчены таким поворотом событий.

Но что поделаешь — Алексеев решил остаться в полку.

— Поезжайте к своей мамаше, посоветуйтесь с ней, — сказал Преображенский.

— Ну зачем же, товарищ полковник? Я могу и не советоваться с ней. Она, конечно, будет согласна.

— Нет, необходимо посоветоваться. Мать — всегда мать, Алексеев.

В тот же вечер полковник направил его в город — проститься с матерью. А через несколько дней подписал приказ о зачислении Алексева стрелком-радистом в свой экипаж.

Когда новый член полка впервые одел форму, его поздравил комиссар:

— Товарищ стрелок, насколько я понимаю, вы пришли к нам в часть недавно?

— Так точно, товарищ комиссар!

— В свое время, — сказал комиссар, — я долго мечтал о такой вот птице на рукаве, несколько лет. И когда

мне дали ее, я земли под собой не чуял. Птица эта обязывает к очень многому. И в первую очередь, стрелять из пулемета только отлично.

— Есть, — вытянулся Алексеев, — буду стрелять отлично!

— Вам надлежит охранять свой экипаж. Помните, что от качества вашей стрельбы зависит жизнь полковника, жизнь штурмана, ваша жизнь и жизнь стрелка-радиста. Надо знать пулеметы «на отлично».

Потянулись дни напряженной учебы...

Звездная, сухая, морозная ночь. На аэродроме острые лучи прожекторов серебрят пушистый снег. Бомбардировщики выруливают на старт.

К своему самолету идет полковник. За ним шагает Алексеев. Его останавливает комиссар, кладет руку на плечо:

— Виктор, ты сегодня идешь в первый боевой полет! Хорошо ты освоил пулеметы? Не подведешь своих товарищей?

— Товарищ комиссар, не беспокойтесь.

Алексеев волнуется, но старается скрыть это. Боевое крещение..

Сказаны последние слова. Самолеты ушли на запад, в глубокий тыл врага.

Через три часа наступит утро. Через три часа полковник Преображенский и его товарищи должны вернуться.

Зеленоватый рассвет, окрашенный тонким, едва заметным багрянцем, медленно встает над рекой.

Голубеет небо. Оживает деревня. С задания возвращаются первые машины. Легкий звук моторов говорит о том, что самолеты идут без бомб. Пришел Пятков, Плоткин, возвратился Тужилкин. Несколько запоздав, прилетел старший лейтенант Зелинский. Преображенского все не было.

Проходит положенное время, горячее у полковника на исходе, а его все нет.

На аэродроме становится беспокойно. Начальник штаба поминутно смотрит на часы. Он подходит к карте и водит на ней карандашом, вычерчивая замысловатые узоры. Капитан Бородавка убежден, что штурман Хохлов не мог сбиться с курса. В сплошных туманах, в пургу

Хохлов всегда выводил самолет к своему аэродрому. Что же могло случиться?

Горючее в самолете, по подсчетам начальника штаба, давно вышло.

— Зенитного огня сегодня не было... — рассуждает сам с собой Бородавка.

— Но, быть может, — спрашиваю я, — они встретили ночных истребителей?

— Нет, — говорит капитан подумав, — истребителей никто сегодня не встречал.

Время близится к обеду. Летчики не смотрят друг на друга. Они-то понимают серьезность положения. Но что же все-таки случилось?

V. ИХ НЕ НАХОДЯТ

Капитан Бородавка принял все меры, чтобы найти полковника. Он сделал запросы по аэродромам, выслал самолеты на поиски, сообщил о случившемся командованию бригады.

Прилетели комбриг и комиссар бригады. Штаб военноморских воздушных сил снесся с соседними аэродромами. Комиссар бригады высказал свое твердое убеждение: полковник найдется.

— Этот человек так просто не погибнет, — говорил комиссар, — он придет.

Радиосвязь с самолетом; после того как он оторвался от земли, была установлена, но она сразу прервалась. Почему? Дошли ли они до цели?

Преображенский не возвращался уже четвертые сутки. Иван Иванович Борзов ходил почти у самой земли, в густом тумане, разыскивая полковника, вглядывался в каждую черную точку, в каждый кустик, но снова и снова возвращался ни с чем. Его самолет сиротливо вздымал в небо и так же сиротливо приземлялся. Полковника разыскивали Кузнецов, Пятков, Тужилкин, — и все было напрасно. Борзов пришел ко мне с картой в руках, сел и сказал:

— Я хочу просить командование позволить мне искать полковника ночью на высоте пятидесяти метров. Я должен найти его живым или мертвым! Если я разыщу его, то совершу посадку и выхвачу из плена.

Борзов мямл карту, вглядывался в населенные пункты,

обозначенные на ней точками, как будто перед ним на карте была настоящая земля и он ожидал увидеть на ней темную точку — машину Преображенского.

Из-за реки пришел высокий, как тополь, летчик Мурат Саукудзович Тхостов, когда-то славивший Балтику своими подвигами, — осетин, старый друг полковника. Мурат Тхостов громко вздыхал. Он сидел на табурете, не шевелясь, часами, огромный, худой, выкуривал папиросу за папиросой. Он тонул в папиросном дыму. Длинные охотничьи сапоги Мурата каждое утро измеряли путь от деревни к квартире полковника. Войдя в дом, оглядываясь, Мурат замечал, что все вещи его друга лежат на прежних местах. Тогда он тихо садился и молчал. Мурат готов был пойти на поиски хоть пешком, лишь бы найти полковника. Уходя обратно в деревню поздно ночью, он говорил:

— Ну, до свиданья. Завтра приду. Может, что-нибудь узнаем...

Комиссар полка Оганезов, тяжело больной, лежал в госпитале. Но и он заметил: в полку произошло что-то неладное. Поднимая голову и едва дыша, он поминутно спрашивал:

— Где же полковник? Почему ко мне не приходит полковник?

Комиссару отвечали:

— Полковник выполняет задание.

Но тот не верил, тревожился все сильнее.

Несколько дней назад Оганезов почти умирал. Полковник полетел на самолете за тысячу километров, привез лекарства и спас жизнь комиссару...

Однажды Оганезов воспользовался отсутствием сестры, с трудом подошел к телефону, позвонил начальнику штаба.

— Вы что же смеетесь надо мной? — сказал комиссар. — Зачем вы меня бросили здесь? Возьмите меня отсюда.

Его едва оторвали от телефонной трубки, с трудом уложили в кровать.

— Я хорошо знаю, — говорил комиссар, — балтийцы летают в любую погоду. Для нас чем хуже погода — тем лучше! Мы летаем даже тогда, когда ни один немецкий самолет не может подняться в воздух. Но скажите мне... Он не вернулся?.. Да?

Самолет полковника после радиogramмы «Иду курсом двести пятьдесят», переданной стрелксм-радистом Логиновым, попал в сложные воздушные течения. Левый мотор начал греться.

Штурман Хохлов неотступно следил за курсом. Логинов пытался наладить оборвавшуюся вдруг связь с землей. Стрелок Алексеев лежал на своем месте возле хвостового пулемета. Никто из них не знал, что Преображенский делал все, чтобы только дотянуть до цели.

Погода между тем резко ухудшилась. Свинцовая, тяжелая облачность как стена преграждала путь самолету. Преображенский решил пробить ее, забраться выше. Но чем выше поднимался он, тем гуще и плотнее прижимались к самолету облака. Холодный пот заливал лицо, глаза. Температура воздуха была минус сорок один. Слипались ресницы. Руки деревенели, но полковник настойчиво пробивался вверх.

...Сорок минут идет самолет точно установленным курсом.

Машина вздрагивает. Скоро должны пройти над целью, а проклятая облачность их не покидает. Вот она разрывается, наконец, почти над целью. И в этот момент правый исправный мотор останавливается. Давление масла катастрофически падает: пять, четыре, три, два, один.

— Товарищ командир, — говорит штурман, — мы находимся от цели в шести минутах. Что будем делать?

— Пойдем на цель. Левый мотор дотянет.

— Но левый не дает полных оборотов.

Полковник убирает наддув. Самолет теперь идет легче. Мотор клокочет. А цель уже хорошо видна. Ее необходимо уничтожить.

Полковник делает глубокий разворот. Теперь даже Алексеев замечает, что правый мотор остановился, а левый звенит, посвистывает.

Лишь бы удержаться над целью! Лишь бы не упасть.

— Вот она, под нами! — Штурман прицеливается. Бомбы летят вниз.

Огонь взметнулся под крыльями самолета. Самолет делает второй круг, и штурман снова сбрасывает бомбы. Они летят на железнодорожный вокзал, где сосредоточились войска противника. Пламя вырвавшись из-под развалившейся крыши, полыхает в небо.

Полковник заходит в третий раз, чтобы все было сделано до конца...

Самолет с трудом набирает высоту и со стоном направляется к аэродрому. Дотянет ли? Не подведет ли последний больно́й мотор?

— Сколько минут мы можем держаться в воздухе? — спрашивает Хохлов.

— Не знаю, — отвечает полковник. — Где линия фронта?

— Мы далеко от фронта, — говорит штурман.

Мотор сдает. Высота резко падает. Давление масла безнадежно снижается. Мотор греется. Сейчас он откажет...

Скорость теряется с каждой минутой. Самолет тянет к земле.

Приборы отказали...

Сплошной туман. Полковник летит как слепой. Он не видит и клочка земли.

— Где мы находимся? — спрашивает полковник. — Где линия фронта? Могу держаться еще пять минут...

— Линию фронта мы не прошли.

Полковник решает судьбу экипажа: Алексеев, Хохлов, Логинов должны жить! Но как спасти их жизнь? О себе в ту минуту полковник не успел подумать.

Предложить экипажу прыгать на парашютах — это значит, разбросать людей на территории врага, погубить их. Идти на посадку? Но разве можно поручиться за благополучное приземление? Посадка почти невозможна.

Минуты трагически коротки.

Полковник решает: «Иду на посадку. Пусть я убью их всех, себя убью... Пусть так... Это лучше плена...»

Высота 150 метров. Сплошной туман. Мотор медленно глохнет. Еще минута, и он остановится. Надо садиться.

Полковник толкает штурвал от себя. Крылья рубят верхушки деревьев. Значит, земля совсем близко. Но где же она. Ее не видно. А крылья снова чиркают о маковки леса.

Колес выпускать нельзя. Садиться на брюхо!

Легкий рывок, толчок, треск... Самолет скользит и ползет брюхом по рыхлому, глубокому снегу. Мотор выключен. Стоп!

— Эй вы, друзья! — кричит полковник вылезая, — выходите, приехали.

Алексеев был уверен, что посадка произведена по всем правилам на аэродроме, с выпущенными шасси, — такою она была мягкой. Он подполз к люку, но люк не открывался. Он был плотно прижат к снегу. Только теперь юноша понял, что случилось. Полковник приказал стрелкам вылезти через турель. Но как это сделать? Надо разрезать круглый колпак. Его разрезали; стрелки выпрыгнули на снег и провалились в него по пояс.

На снегу стоял озабоченный полковник. Алексеев сразу увидел погнутые винты. Они свернулись, словно жирные листья тропического растения. Плоскости помяты. Кожухи моторов погнуты. Алексеев заплакал.

— Ну что ты плачешь? — спросил полковник. — Испугался?

Нет, это был не испуг, — скорее, жалость к поломанному самолету.

— Ничего, — сказал полковник, — в авиации много чего бывает. На таком самолете летать еще можно. Машину починим быстро. Но есть ли у нас спички?

Совсем случайно в боковом кармане Алексеев нащупал коробок. В нем было четырнадцать спичек.

— Подсчитайте патроны, папиросы. Осмотрите самолет: есть ли на нем неприкосновенный запас продуктов.

Продуктов не оказалось. Вспомнили: последние отдали в Ленинграде населению, голодным. Отдали и спички. патронов нашлось 47, пистолетов — 3, папирос — 18, перочинный ножик.

— Я оставляю себе три патрона: один для себя, другой для тебя, Виктор, а третий — так... на случай осечки! Если нам туго придется — я застрелю тебя первым.

— Ну да, — сказал Виктор, — так и надо... Я не дрогну.

О чем еще было говорить? Тридцатипятиградусный мороз жег лица, коченели руки; в теплых унтах мерзли ноги. Остаться возле самолета было нельзя.

Полковник приказал снять пулеметы и продвигаться на восток.

Первым шел командир. За ним Алексеев. За Алексеевым — Логинов. Замыкал строй штурман Хохлов.

Сорок минут они брели по рыхлому снегу, несли тяжелые пулеметы и прошли всего несколько десятков метров.

По пояс проваливаясь в снег, вспотевшие, мокрые, они пробивали дорогу. Ползли, а не шли.

Мороз с каждой минутой становился злее. Куски льда стали колоть за воротником, за пазухой, в рукавах, возле коленей в унтах. Это смерзался пот.

Рассвет не принес облегчения. Туман густился. Они еще не знали, на чьей территории находятся: на своей или на фашистской. Они едва брели.

Потом обнаружили, что не захватили с собой ракетницы. Надо было возвращаться.

Приказ вернуться получил Алексеев. Он молча пошел к самолету. С каким трудом был пройден этот путь! Сколько энергии было затрачено! И вот — надо идти назад...

Товарищи ждали юношу, стоя по пояс в снегу. Они очень устали.

Когда Алексеев догнал товарищей, наступил рассвет.

Полковник приказал подняться на березу, определиться. Полез Логинов. Но — сколько окинул глаз — видна была лишь просторная поляна да рыхлый снег.

— Товарищ командир, — сообщил он, — болото и снег!

Полковник не поверил. Он сам залез на березу.

Вокруг было пустынно и мертво. Полковник молча спустился с дерева.

— Только вперед, на восток! — сказал командир.

— Нельзя ли нам оставить хоть пулеметы? — спросил Логинов.

— Нельзя!

И они пошли дальше.

К вечеру, за тринадцать часов изнурительного пути, они сделали километров двенадцать. Дальше идти было невыносимо. Все заволочло туманом.

— Ломайте ветки, — приказал полковник, — разжигайте костер.

Пройдя сквозь густой кустарник, они остановились на опушке леса и разложили костер. Это было опасно, но необходимо.

— Оставить бы пулеметы, — товарищ командир, — сказал теперь и штурман, садясь на снег.

Смертельный сон сковал его глаза. Алексеев присел рядом и тоже уснул.

— Не спать! — крикнул полковник. — Уснем — погибнем. Проснитесь!..

Алексеев проснулся, но через минуту задремал снова. Все уснули. Проснулись они от того, что на них стали гореть унты и комбинезоны.

— Пожар, — сказал штурман, тормоша остальных, — мы горим.

Они затушили горящую одежду. Потом полковник тихо запел: «Иду по знакомой дорожке. Вдали голубеет крыльцо...» Другие подтянули. Хорошая вещь — песня: всё стало как-то легче на душе.

Ночь была длинная, бесконечная. И они без конца пели эту песню. А утром снова пошли вперед.

Через каждые двадцать метров пути — двадцатиминутный отдых. Кругом все та же однообразная глушь, тот же унылый пейзаж: снег, болото...

Логинов первый сказал командиру, что отчетливо видит село.

— Вот колокольня! Вот и скотный двор!

Все стали вглядываться. Действительно, совсем рядом виднелись постройки. Пошли к селу. Шли очень долго. Шли несколько часов, торопились. Усталые, они почти падали. А перед ними по-прежнему тянулись болота, леса, кустарники, — села все не было. Мираж!

Тогда они закопали пулеметы в снег, выбросили планшетки и все лишнее из карманов. Каждая малая вещь стала тяжелой, как свинец.

Командир снова взобрался на дерево.

— Идти назад, к самолету! — приказал он. — Впереди только болото.

К самолету они возвращались целый день.

— Достать парашюты, — сказал Преображенский, — облить бензином, поддерживать огонь.

Зажгли два парашюта. На двух других улеглись сами, накрылись ими. Отдохнув, открыли крышки аптечек и в этих крохотных крышках сварили из снега чай.

Какое наслаждение — этот чай! Они пили медленно, смакуя каждый глоток. Потом разгребали снег в поисках ягод, но ничего не нашли, кроме зеленых листьев брусники.

Поднялся сильный ветер. Морозные вихри обжигали лица, кружились и завывали вокруг самолета. Хотелось спать. А командир приказывал бодрствовать.

Послышалась стрельба на западе. Может быть, они перешли фронт и находятся на своей стороне?

Решили идти на юг. Стрельба на западе стала слышна отчетливее.

Полковник вынул пистолет и несколько раз выстрелил. Но их никто не слышал.

Командир приказал ползти. Поползли.

Восемь часов ползли. И всё то же: болото, кустарник и глубокий снег. А вверху туман.

Вдруг где-то над головой загудел мотор. По звуку командир определил — самолет Борзова. Но Борзов не мог заметить летчиков в серой паутине. Он пролетел на запад.

— Нас ищут, — сказал полковник, — бодритесь, товарищи! Соем песню.

Они пели что-то слабыми голосами, упорно двигаясь на юг. Ведущий сменялся, валясь от изнеможения на снег в сторону от продавленной им тропинки.

Слева показалась деревня. Они пошли на нее. Но и это был мираж. Тогда взяли направление 240.

Жадно глотая снег, Логинов опять воскликнул:

— Я вижу колокольню!

Никто больше не верил ему.

— Это мираж, — сказал полковник, лицо которого горело, как в огне, — церковь, на которую вы указываете, все время отодвигается. Все это миражи. Они преследуют нас.

— Верно, — сказал штурман, — но на этот раз я тоже вижу церковь. Пойдемте на нее.

Медленно, едва поднимая опухшие ноги, пошли к церкви. Чем дальше они шли, тем быстрее хотелось добраться до цели, тем дальше отодвигалась она, а временами совсем исчезала. Они шли к этому далекому шпилью с утра до вечера, и только в сумерках стало ясно, что это не мираж, что там действительно церковь. До нее остались считанные сотни шагов, но никто не мог двигаться дальше.

Штурман без сил опустился на снег. .

— Нам нужно ночевать здесь, — проговорил он безразлично.

— Нельзя спать, — сказал командир. — Поднимайтесь все. Идите за мной.

Они встали, и снова пошли за ним, и шли так целую вечность.

Когда совсем стемнело, четыре человека подползли к церкви.

— Виктор, — отрывисто проговорил полковник, — ты самый молодой, лезь на колокольню, смотри кругом: есть ли дорога, есть ли жилье.

Виктор взбирался на колокольню до поздней ночи. Тем временем штурман нашел оставленный немецкий дот, а радист Логинов, спустившись вниз по откосу, увидел укатанную, поблескивавшую зимнюю дорогу.

— Дорога! — закричал он охрипшим голосом. — Дорога, товарищи! Идите сюда: дорога!

— Вот теперь мы выбрались, — сказал полковник. — Надо только узнать, чья эта дорога!

Штурман полез в дот — нет ли чего съестного. Но там валялись только пустые консервные банки. Они вошли в сарай — согреться. В щели неожиданно ударили лучи света. Это по дороге мчался автомобиль. Они притаились. Потом невдалеке послышалась человеческая речь. Виктор осторожно двинулся на разведку. Ему, почти мальчику, было удобнее сделать это.

Полковник и штурман приготовились возле двери, вынув пистолеты. Виктор пошел к дороге. Там стоял грузовик. Виктор спросил:

— Кто тут у вас старший, товарищи?

— А что вам нужно?

— Мне нужен старший!

— Вот он, наш старший, — указал шофёр на командира.

Это было избавление.

Красноармейцы и их командиры, воентехник 1-го ранга Геннадий Филиппович Подкидышев из Н-ского отдельного мотоинженерного батальона и старший лейтенант Евгений Александрович Скорин, оказались гостеприимными людьми. Они подхватили летчиков на машину и привезли их в ближайшую деревню.

В крестьянской избе красноармейцы Дроздин и Володин приготовили суп, гречневую кашу, скипятили чай... Летчики жадно схватились за хлеб, но он застревал во рту, царапая нёбо, пересошие губы. Они не могли есть. Им дали водки.

— Вы кушайте... хорошенько кушайте, — приговаривал улыбающийся, хлопочущий Подкидышев.

— Нельзя. Нам много есть нельзя. На одного человека — только шесть ложек супа... Больше не разрешаю, — остановил полковник.

Они жадно, но осторожно глотали пахучий, вкусный суп.

— Нельзя ли еще хоть ложечку... одну ложечку.... — упрашивал Виктор и смотрел на полковника умоляющими глазами.

— Позвольте им, товарищ полковник, — сказал Подкидышев, — еще несколько ложек супа. Они же сильно голодны!

Полковник сжалился. Он позволил друзьям дополнительно проглотить по четыре ложки супу, и то только потому, что этот день, двенадцатое января, был днем рождения штурмана Хохлова.

— День твоего рождения — день нашей радости, — сказал полковник.

Потом их уложили спать. Они уснули непробудным сном. Их покой охраняли красноармейцы.

Утром Подкидышев доставил их к зданию, где заседал Военный Совет Н-ской армии.

Их ждали. Военный Совет поселил их в ближайшем доме.

— Вам надо хорошенько отдохнуть, — сказали командиры.

В этом городе совсем недавно были немцы. Повсюду виднелись следы разрушений: сожженные дома, развалины...

На квартиру летчиков прислали вкусный обед и бойкого парикмахера.

Хозяйка постелила самое лучшее постельное белье.

Из соседних домов принесли одеяла, подушки, никелированный самовар. Но как только летчики отогрелись, полковник сказал:

— А нет ли случайно у вас, хозяйюшка, баяна? Среди нас есть баянист.

— И в самом деле, — восторженно воскликнул Виктор, — нет ли у вас какого-нибудь плохонького баяна?

— Дорогие летчики, — сказала хозяйка, — я бы со всей душой! Но у нас не только баяна, и патефона плохого нет. Всё у нас немцы проклятые забрали. Бормочут «гут, гут», а сами все берут. Двадцать три дня грабили наш город...

VI. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Утром в квартире комиссара раздался телефонный звонок. Звонил капитан Бородавка.

— Товарищ комиссар, с полковником все в порядке! Полковник нашелся. Самолет почти цел. Экипаж здоров.

— Вы точно знаете?

— Радиограмма! Все точно. Сейчас посылаю Кузнецова доставить экипаж. Прибудут к вечеру.

Радостная весть облетела полк. Всем хотелось скорейшей встречи.

Погода стояла отвратительная. Не было никакой гарантии, что пропавший экипаж доставят сюда сегодня. Стоял низкий, ползуший по земле туман. Мороз крепчайший. Погода явно нелетная, но Кузнецов решил лететь немедленно. И вот, оторвавшись от земли, он скрылся в дымке.

Прошел день — Кузнецова нет. Наступил вечер. Мутный, туманный вечер.

— В такую гущу, — сказал капитан Бородавка, — никто не выпустит наш самолет.

Начальник аэродрома, откуда должен был вылететь Преображенский, сказал:

— Не советую рисковать. Нет видимости. С пути собьетесь.

Полковник взял полетный лист.

— Сидеть без дела — хуже смерти, — сказал он и решительно подписал полетный лист.

...Знакомый гул моторов мы услышали раньше, чем увидели самолет.

Он выскочил из снежной пелены над домиком полковника, сделал крутую горку, знакомой воздушной походкой пошел на посадку.

Преображенский вышел и заулыбался. За ним показались Хохлов, Логинов и Алексеев, опухшие, обмороженные... Круто пришлось летчикам...

VII. ДОРОГА НА ТИХВИН

Бои развернулись на подступах к Ленинграду. То там, то здесь у стен города вспыхивали пожары, гремела канонада. Били орудия, минометы, пулеметы. Мины со свистом проносились над головами, и их ноющий гул сли-

вался с завыванием зимней бури. Снег белыми волнами поднимался с земли, кружился над домами и бешено мчался дальше по улицам. Ветер путался и свистел в телеграфных проводах.

В запорошенной дали призрачными тенями брели к городу гитлеровцы. Город был близко, совсем рядом. В нем, казалось им, можно было спасти свою душу, отогреть продрогшее тело. Отдохнуть от кошмара.

Заросшие, грязные, издерганные, в надежде на близкое избавление они шли и ползли. За ними могильниками оставались их блиндажи, разбитые нашей корабельной артиллерией, крепостными пушками, ударами с воздуха. Укрепления немцев, воздвигнутые у самых стен Ленинграда, стали для них адом.

Триста тысяч окоченевших мертвецов... они уже не услышат голоса фюрера, не услышат уже ничего. Они не прошли в город, не получили отдыха.

Стонали леса. Завывала колючая метель.

Тридцать девятый армейский корпус генерала Шмидта спешил к Ленинграду. Спешил! Он должен был ударить на Тихвин, чтобы помочь войскам, блокирующим Ленинград, поскорее ворваться в город.

Дорога на Тихвин соединяла наш город с великой страной. С Москвой. Последняя дорога.

Тихвин вступил в бой. Он долго сражался. Истекающие кровью люди города не покорялись, не сдавались. Наступил решающий час. На карту поставлены были жизнь и смерть Ленинграда. Тогда страна бросила на выручку ему лучшие полки. Был среди них и полк Преображенского.

Вылеты — днем и ночью.

Вот пришел усталый, бледный Бабушкин. Вернулся молодой Пятков, прилетел с задания Борзов. Они молча кладут шлемы на стол. Карандашом на карте отмечают города, села, ставят крестики, точки. Они побывали над этими городами.

Полковник внимательно слушает, смотрит на карту. Потом, довольный, говорит начальнику штаба:

— Готовьте машину. Надо посмотреть, что там натворили мои ребята на Тихвинской да Волховской дорожке.

Бородавка козырнул:

— Машина ваша давно готова.

— Отлично. В 12.30 иду.

И вот мы в воздухе.

Два самолета шли быстро и низко, чтобы можно было все разглядеть.

Сверкнули две нитки рельсов. Возле дороги лежал перевернутый набок паровоз, валялись разбитые вагоны. Спускаемся ниже, видим бегущих немецких солдат. В касках, в пилотках, покрытых платками, в рогожах. Солдаты бросали оружие, падали в снег. Мы мчимся над их головами.

Тихвин пылает. За городом снова бегут немцы... Трупы, как бревна, выброшенные рекой на берег, видны у дороги. Чернеют... мелькают там и здесь...

На ровной поляне — большой частокол. Кресты и сверху на них — каски.

Полковник кивнул головой в сторону немецких могил:

— Штурман, смотри!

— Пускай благодарят своего фюрера, — сказал Хохлов.

Враги поджигали этот маленький старинный город... С земли снопом брызнул огонь.

— Лево на борт!

Полковник кренит самолет на борт, взмывает, как ястреб. Борзов скользит по макушкам деревьев. На белой поляне к стогам сена приткнулись гитлеровцы. Они боятся смерти.

Штурман отмечает карандашом на карте горящие деревни. Поповка, Дуюровка, Марьяновка, Кириши, Будогощь, Неболчи.

Проходим Тихвинский канал. Подборье, Бабаево, Белый Бычок. Здесь погиб Василий Алексеевич Гречишников. Пересекаем застывшие реки, железные дороги, возвращаемся к Шлиссельбургу. Здесь немцы хотели замкнуть кольцо блокады. Шлиссельбург горит. Черные клубы дыма поднимаются к небу. Там поодаль в атаку идут наши. Черные шинели, бушлаты... Моряки.

От Шлиссельбурга мы идем на Волхов. На Волховском направлении сосредоточены отборные фашистские дивизии. Их теснят наши части, но они стараются задержаться у Волхова. Гитлеровцы направляют свой удар на узловой пункт Шум. Там скрещиваются шоссе и железная дорога, идущие на Ленинград, и железнодорожная линия Мга — Волхов.

Наш самолет направляется вдоль шоссеиной дороги на Тихвин. Это не дорога — это кладбище. В диком хаосе нагромождены взорванные разбитые танки. Броневики, автомобили, мотоциклы валяются в канавах.

Мороз. Ноги стынут в унтах. Руки промерзают в меховых перчатках. Но наши сердца наполняются суровым удовлетворением, когда мы видим, что враг здесь, на этой дороге, находит гибель. Среди обширного снежного поля — следы одинокого костра. Вокруг костра сидят сторбившиеся люди. Мы не стреляем. Проходим мимо очень низко. Сторбившиеся люди не шевельнулись. Они замерзли у догорающего костра.

И снова пылающий Тихвин. Каменная громада старинного монастыря. Отступая, гитлеровцы подожгли его. Теперь весь город — клубок огня.

Тихвин! Древний русский город! Он войдет в историю как один из бастионов, который закрывал своей каменной грудью доступ к непобедимому городу Ленина.

VIII. ПЕРВЫЙ ГВАРДЕЙСКИЙ

Когда-то давно-давно могучим голосом выводил запевала-преображенец:

Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья...

И сейчас еще кажется, что этот могучий русский голос громко звучит на полях битвы, поднимается к небу, раскатывается по земле.

Гордые, усатые, статные запевалы старой гвардии — Преображенского, Семеновского полков, — получив боевое крещение под Нарвой, увенчавшие себя бессмертной славой в Полтавском бою, под Шлиссельбургом, несли эту песню по российским дорогам. Знамена и штандарты прославленной гвардии колыхались на ветру. Следы немецких, французских, турецких пуль были на древках, на полотнищах.

Гремел барабан, звучали металлом трубы.

Ать-два! Ать-два!

На многих полях сражений в Западной Европе видели русские кивера и каски, простреленные шапки и длинные, как пики, острые сабли гвардейцев-героев.

Много гренадерских шапок, простреленных вражескими пулями, упало на полях сражений, но ни одну не бросили гвардейцы. Поднимали их, стряхивали пыль и хранили как святыню. Приходя в полк, молодой гвардеец получал в знак награды и уважения простреленную гренадерскую шапку. Молодой гвардеец присягал, держа ее в руках, целовал и больше никогда не расставался с нею.

Простреленная шапка была великим символом борьбы и мужества: она напоминала, как должно сражаться.

Простреленная шапка с выгравированной фамилией героя-гвардейца напоминала солдату о горячих славных днях смелых атак.

Русская гвардия всегда была беспощадна к врагу.

«Чем ты отплатил врагу за свою тяжкую рану?» — спросил однажды Петр I раненного в руку гвардейца. Гвардеец спокойно ответил: «Когда у меня было две руки, я уложил четырех супостатов, а после того одной правой рукой приколол еще двоих». — «Молодчина!» — смеясь сказал Петр. «Так точно молодчина, батюшка-государь, — бойко проговорил гвардеец. — У меня все это получилось дюже просто...»

Русскую гвардию хорошо помнят в Берлине, в Лейпциге, на бульварах далекого Парижа, на снежных перевалах Балканских гор, в суровых Карпатах.

«Что до российских гвардейцев касается, — доносил в Петербург фельдмаршал Салтыков в дни разгрома Фридриха II, — то я могу сказать, что против них никто устоять не может, а сами они подобно львам презирают свои раны».

Высоко несли гвардейцы свою честь, множили славу.

Но не было еще никогда в мире гвардейских полков, ведущих ожесточенные битвы в воздухе. Они родились у нас, в Советской России.

Минно-торпедный полк, которым командовал Преображенский, сбросил на крупные центры Германии 13 тысяч фугасных и зажигательных бомб, уничтожил 25 железнодорожных станций, 24 военных и транспортных корабля, 200 фашистских тяжелых танков, 99 автомашин, 95 немецких самолетов, бесчисленное количество немецкой пехоты...

Цистерны. Нефтесклады. Портовые, железнодорожные склады. Казармы с войсками. Полевые орудия. Зенитные

пушки и пулеметы. Фургоны. Железнодорожные платформы и вагоны...

Берлин, Данциг, Кенигсберг, Штеттин.

Все это на его боевом счету.

Да, есть чем гордиться. Я подхожу к окну. Стекло заволокло толстым слоем морозной коры. Сквозь нее ничего не видно.

Слышу под окном хрустит снег. Кто-то прохаживается по дороге. Потом подходит к окну и робко стучит.

— Кто там? — вскакивает полковник, открывает дверь.

Входит Тхостов.

— Евгений Николаевич, это я пришел.

— В такую рань! Зачем? — спросил полковник.

— Прощаться пришел к тебе... Спасибо сказать. Я уезжаю.

— Входи, Мурат. Входи, ты будешь у нас сегодня первым гостем.

— Дорога моя идет на Кавказ. Приказ получил такой. Я, правду сказать тебе, скучать стал. Там горы мои седые ждут меня. Давно я не видел гор. Давно простился с ними.

— Нехорошо забывать горы, — сказал полковник. — Садись, Мурат. Зачем стоишь?

Мурат медленно сел и возле ног осторожно положил сверток — парусиновый мешок, завязанный шпагатом.

— Ну что, Мурат, теперь ты уедешь и, наверное, забудешь меня? Горами любоваться станешь. На охоту пойдешь. Форель в горных речках ловить будешь...

— Ах, форель! — с досадой сказал Мурат и вдруг вскочил: — Зачем ты, Евгений, говоришь такое обидное слово. Когда забывал тебя твой старый друг Мурат? Когда Мурат подводил тебя?

— Не обижайся на меня, Мурат.

Мурат стоял, и быстрые глаза его горели. Он нервничал, что-то хотел сказать. Я направился к двери, но Мурат схватил меня за рукав.

— Не уходи, — умоляюще сказал он, — вдвоем нам будет труднее.

— Ну почему же труднее?

— А потому, — сказал Мурат, — что я уеду сегодня и, кто знает, когда я вернусь сюда. Я вот... — Мурат еще больше заволновался, покраснел, присел на стул,

встал. — Я вот подарок принес... Мой самый любимый подарок.

Он быстро развязал парусиновый мешок.

— Да ты с ума сошел! — крикнул полковник. — Мурат, зачем мне твой подарок?

Мурат, едва услышав эти слова, вытянулся как струна. Полковник понял, что обидел Мурата.

— Ну, ладно, давай, давай твой подарок, Мурат, — мягко сказал он. — Я не хотел обидеть тебя, не хотел.

Мурат наклонился к мешку, раскрыл его и достал новенький текинский ковер.

— Если бы ты был на Кавказе, я подарил бы тебе своего лучшего коня. Шашку. Кинжал.

— Но ведь ты же, Мурат, летчик! Неужели у тебя до сих пор есть и конь и шашка? — с любопытством спросил полковник.

— Шашка у меня есть. Кинжал у меня есть. Коня у меня нет. Но для тебя... — Мурат засмеялся. — Для тебя я бы украл коня!

— Вот как?

— Вот так, — ответил Мурат. — Сейчас украл бы!

— Значит, в тебе еще кипит кавказская кровь?

— Кипит! На, получай мой подарок!

Это был дорогой ковер. Таких мне еще никогда не приходилось видеть. Тонкие белые, темноалые линии и квадраты радовали глаз... Мы внимательно разглядели ковер, а Мурат стоял в стороне и поглядывал на нас, как бы прикидывая, понравился ли нам его дорогой подарок.

— Слушай, Мурат, — сказал полковник, — почему ты сегодня принес ковер? Ты ведь мог принести его вчера, позавчера. Ну, наконец, завтра...

— Завтра? Завтра — поздно. Вчера? Вчера — не собирался ехать. Принес сегодня. Сегодня уезжаю. Сегодня дарю ковер.

— Когда ты едешь?

— Вечером еду. Я пришел к тебе — еще месяц посреди неба гулял.

— Бедный Мурат. Что же ты не зашел сразу?

Раздался резкий телефонный звонок. Полковник взял трубку.

Мурат ничего не слышал. Он прибавал на стену, возле кровати полковника, свой подарок.

И тут в глазах полковника я увидел радость.

— Сегодня командование, — воскликнул полковник, положив трубку, — вручает полку гвардейское знамя! Так сообщили Отныне мы — летчики-гвардейцы. Не зря же ты пришел ко мне, Мурат. Твое кавказское сердце предчувствовало. Ты слышишь, Мурат?

— Что ты сказал, Евгений? — прислушиваясь, спросил Мурат.

— Сегодня нам вручат знамя! Гвардейское знамя!

— Тогда я не еду, — сказал Мурат. — Какой сегодня день! Замечательный сегодня день!

Мурат был счастлив, что именно он первый принес гвардейцам свой «маленький подарок».

Полковник поглядел на Мурата, потом достал из кобуры маузер, положил его на ладонь:

— Давно ты хотел иметь такой маузер, Мурат. Я знаю, — сказал он. — На, возьми, — и протянул маузер Мурату.

Мурат затрясся от радости. Он схватил маузер и тихо прошептал:

— А ты не жалеешь, Евгений?

— Что ты, Мурат, для тебя мне ничего не жалко. Ты ведь когда-то говорил мне про такой маузер.

Мурат был очень доволен.

Полковник написал бумагу:

«Дано настоящее летчику Мурату Саукудзовичу Тхостову в том, что ему выдан мною пистолет системы «Маузер» № 447782.

Командир 1-го Гвардейского полка полковник *Преображенский*».

— Держи бумагу, — сказал полковник, — это первая бумага, которую я подписал в гвардейском полку.

— Спасибо, — сказал Мурат и по-восточному приложил ладонь к сердцу. — Спасибо. Я век не забуду тебя.

Солнце уже поднялось и щедро бросало теплые лучи на просторное поле, в окна нашего домика.

Мы пошли на аэродром.

Там уже готовились к торжеству.

В 11 часов 40 минут на аэродроме выстроились летчики-гвардейцы.

Необычайно ярко светило солнце. Белоснежная пелена аэродрома как бы слилась на горизонте со светло-голубым бескрайним небом. Застыли деревья... Тишина.

Летчики, штурманы, стрелки, радисты, инженеры, техники, вооруженцы, мотористы выстроились поэскадрильно.

Полковник вышел вперед и окинул взглядом стройные ряды гвардейцев. Вот они:

Звездой увенчанные алой...
Преображенский и Хохлов,
Гречишников, Ефремов, Плоткин,
Вы героизм вписали в сводки,
Пути открыв для храбрецов...

Тишину нарушил гул моторов. Над аэродромом кружились самолеты.

Когда машины приземлились, из них вышли командующий Краснознаменным Балтийским флотом, члены Военного Совета. Преображенский отдал рапорт командующему.

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы, — обходя фронт, сказал командующий.

— Здравствуйте!

Вице-адмирал сжимает в руках древко гвардейского знамени. Дюралевое древко. Бахромчатое знамя.

«Смерть немецким оккупантам!»

На гвардейском знамени силуэт Ленина. От наконечника на длинном шнуре спускаются две крепкие золотистые грозди.

— Военный Совет уверен, — сказал командующий, — что вы, первые гвардейцы Балтики, будете еще крепче бить врага там, где он появится. Вручаю вам завоеванное в бою, овеянное вашими славой и подвигами, омытое кровью гвардейское знамя!

Командующий высоко поднял знамя и передал его полковнику.

— Поздравляю вас, гвардейцы! Вы больше жизни своей любите Родину! Ура! — воскликнул он.

И грянуло стократное гвардейское «ура», и взорвался гулом лес, прокагилось волнами эхо, земля загудела от мощного крика.

Полковник Преображенский благоговейно поцеловал знамя — награду Родины.

Затем он снял шлем, опустился на колени. За ним все молча сняли шлемы и опустились на колени.

— Здесь, на этом снежном поле, — сказал полков-

ник, — мы поклянемся с вами, гвардейцы, что будем умножать боевую славу Краснознаменного Балтийского флота! Произнесем же, друзья, стоя на коленях, гвардейскую клятву.

— *Родина, слушай нас!* — отчетливо и громко сказал полковник.

— *Сегодня мы приносим...*

— *Сегодня мы приносим...*

— *Тебе святую клятву на верность...*

— *Тебе святую клятву на верность...*

— *Сегодня мы клянемся тебе еще беспощаднее и яростнее бить врага, неустанно прославлять грозную силу советского оружия...*

— Родина, пока наши руки держат штурвал самолета, пока глаза видят землю, стонущую под фашистским сапогом, пока в груди бьется сердце и в наших жилах течет кровь, мы будем драться, громить, истреблять фашистских зверей, не зная страха, не ведая жалости, презирая смерть, во имя полной и окончательной победы над фашизмом.

— *...во имя полной и окончательной победы над фашизмом,* — пронеслось среди гвардейцев.

IX. ГВАРДЕЙСКАЯ ПОЧЬ

Темная, сырая, безлунная ночь. В густой тьме потонули деревушки леса, пригорки. Дороги, по которой тысячу раз, наверное, ездил шофёр и которую он знает на память, совсем не видно, — он ведет машину вслепую.

В штабе летчики рассаживаются и жгут указаний. Задачу они знают, — гвардии майор Челноков изложил ее накануне. Требуется уточнения. Их дает гвардии майор Бородавка.

Расписание бомбардировочной работы рассчитано по минутам: взлет, время в пути, время удара, пеленги, посадка. Установлены высоты, заход, запасные цели. Штурман Серебряков роздал маршруты-кальки, отметил на фотоснимках обязательные точки прицеливания: вражеский порт, железнодорожная станция, сортировочный парк, мост, нефтесклады, инструментальные мастерские и заводы.

Все ясно.

В комнату входит «главный кудесник» — метеоролог Шестаков, высокий молодой человек.

Все взоры обращены к нему. Его слушают сосредоточенно.

— Туманы не застигнут? — спрашивает майор Бородавка.

— Единственный аэродром, который могут закрыть туманы, — наш. Видимость — шесть километров. Погода ясная, — коротко отвечает Шестаков и потирает озябшие руки.

— А вы не заметили случайно, откуда ползет дымка? — спрашивает кто-то вполне серьезно.

— Видимость, я сказал, хорошая.

— А когда дождь будет? — тем же тоном спрашивает инженер Киселев.

— Я уже сказал: дождь будет в воскресенье, в четыре часа утра. А если это вас не удовлетворяет, я могу ответить вам словами: «Все будет так, как я сказал».

Майор Челноков встал. Летчики посерьезнели.

— Товарищи! Каждый из нас должен в эту ночь сделать по три вылета. Кто чувствует себя крепче, тот делает четыре.

...В штабе работы много. С воздуха просят вертикальный луч, докладывают о выполнении боевого задания. Одна за другой возвращаются боевые машины.

Техники и мотористы, оружейники и прибористы в течение нескольких минут успевают не только осмотреть самолеты, но и подвесить новые тяжелые бомбы. Специальные командиры опрашивают экипажи о результатах бомбардировки. Выясняется: в районе цели сильнейший зенитный и пулеметный огонь, многочисленные площадки действующих прожекторов. Барражируют вражеские истребители. На вражеской земле вспыхнуло несколько очагов пожаров. Наблюдались сильнейшие взрывы в центре железнодорожного узла.

Инженер-капитан Петров на сорок минут раньше срока вооружил самолет подполковника Ведмиденко.

Полминуты уходит на несколько глубоких затяжек папиросой. И снова — в воздух.

Оперативный дежурный принимает сообщение, что в районе цели два истребителя атаковали капитана Бале-

бина. Один снизу, другой — сверху. Экипаж принял бой. Истребители отвязались!

Ведмиденко попал в шквал зенитного огня. Чтобы поразить цель, надо было снижаться. Ведмиденко обманул зенитчиков. Он вынырнул с другой стороны, и немцы не успели сделать по его самолету ни одного выстрела...

Капитан Пушкин задание выполнил, возвращается на подбитом моторе...

Самолеты пошли в третий вылет. Но никто не жаловался на усталость.

На врага сброшены уже десятки тонн металла. Тысячи снарядов израсходованы немцами. Зенитные батареи захлебываются, не успевают отбиваться от непрерывных ударов. Тухнут прожекторы. Умолкают орудия и пулеметы. А удары гвардейцев все нарастают. Самолеты поднимаются, садятся, снова поднимаются и снова мчатся на запад!

Над линией фронта вспыхнул огромный огненный шар. Он рассыпался и горящей головней полетел к земле.

— Кого-то срубили! — говорит Челноков. — Черт подери!

Начальник штаба и оперативный дежурный смотрят на расписание. Над целью в эту минуту должен быть летчик Деревянных. Неужели он сбит!

Посылают запросы. Ответа нет. По времени на посадку должен прийти Пятков. Его нет. А может быть, это Недоступ? Он вышел на цель через минуту после Деревянных.

— Передайте майору Челнокову, — говорит оперативный, — «тройка» не отвечает!

Дежурный связист снимает трубку, но «тройка» в этот момент радирует: «Иду на посадку». Значит, не Деревянных...

Запросили «двадцать второй».

«Двадцать второй» ответил.

— Запрашивайте «нулевку!» — говорит начальник штаба.

«Нулевка» не ответила. В штабе и на аэродроме наступают напряженные минуты. Подполковник Ведмиденко, летевший на «нулевке», давно сообщил, что выполнил задание, но на аэродром еще не пришел. А время его вышло.

— Не верю, — говорит дежурный по штабу. — За-

прошу «Тундру». Ведмиденко придет! Алло! «Тундра»?
Прошла ли у вас «нулевка»?

— «Нулевка» прошла! — ответила «Тундра».

— Ничего не понимаю, — говорит дежурный, — куда она могла деться?

— «Нулевка» идет на посадку! — доложил вошедший краснофлотец.

Все облегченно вздохнули...

«Нулевка» приземлилась и подвесила бомбы. За ней делает посадку капитан Пушкин. Он тоже, не задерживаясь, выходит на старт.

Прожекторы на аэродроме то тухнут, то вспыхивают. Вертикальный луч просверлит небо и мгновенно исчезнет. В конце аэродрома тонкой точкой мелькает карманный фонарик. Это майор Челноков регулирует движение самолетов в воздухе и на земле.

Беспокойство о Деревянных и Ведмиденко оказалось напрасным. Все летчики вернулись благополучно.

— Через полчаса, — говорит инженер, — самолет Пяткова снова может идти на задание.

Опять подвешена партия груза. И снова гвардейцы в воздухе. Луна сопровождает им.

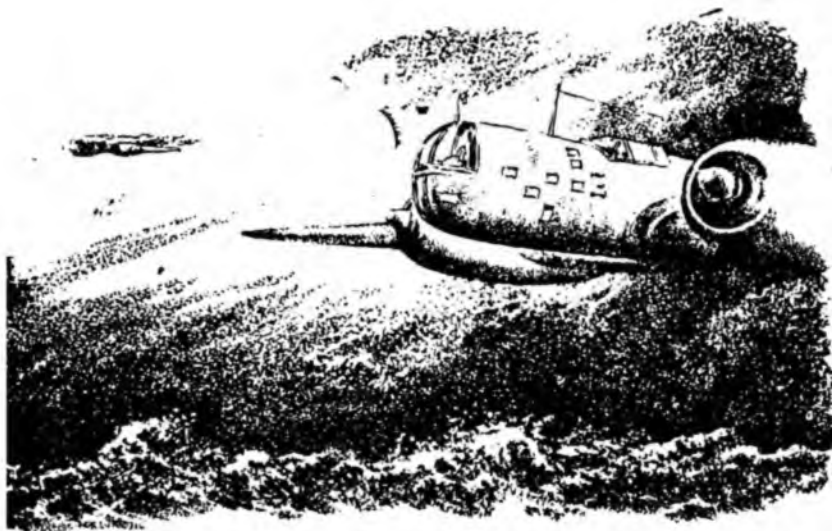
— Товарищ Соболев, как обстоят дела с боезапасом? — спрашивает Челноков.

— Хватит. Боезапаса сколько угодно. За нами остановки не будет!

Остановки не было. Немцы хорошо запомнят эту ночь. За шесть часов летчики сбросили десятки тонн бомб на важнейший железнодорожный узел. Из строя выведена еще одна очень важная коммуникация врага. Сила удара гвардейцев была настолько значительной, что в конце концов окончательно заглохли вражеские зенитки, прекратили свои тщетные поиски прожекторы, перестали рыскать истребители. Ничто не могло противостоять грозному шестичасовому бомбовому удару.

Когда наступило утро, усталые летчики сели в голубой автобус и запели песню:

Смелей вперед, крылатых стая,
Твори геройские дела,
Чтоб снова Родина до края
В цветах победы зацвела!



Часть четвертая

1. ПИСЬМО АНГЛИЙСКОЙ ДЕВУШКИ И ПОДАРОК АМЕРИКАНЦА

День зимний, светлый, солнечный. Настроение у всех бодрое. Как же! Капитан Василий Балебин за шесть дней торпедировал в Балтийском море семь вражеских кораблей. Сегодня Балебину вручены высшие награды: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда». По этому случаю был приготовлен особый обед с зажаренным поросенком.

Первое слово предоставляется гвардии полковнику, затем полковому комиссару. Они поднимают гвардейскую чарку, желают дальнейших успехов экипажу, ставят его боевую работу в пример другим.

Балебинский поросенок, как говорили многие в шутку, помог не одному гвардейцу. Самый молодой летчик, которому исполнился двадцать один год, Вадим Евграфов, и его штурман Бударагин стали удивлять всех с каждым новым вылетом. С любого очередного задания они возвращались с победой. Каждый раз Евграфов точно вы-

ходил в море, отыскивал подходящую цель и штурман его без промаха торпедировал очередной корабль.

Однажды, не будучи еще Героем, Евграфов получил много поздравлений из Москвы, Ленинграда и письмо от английской девушки Берил Нортскот. Судя по адресу, она проживала на Гертон Роуд 14, Синденхем, Лондон. На празднике «балебинского поросенка» Вадиму Евграфову и вручили ее письмо. Краска бросилась в совсем юное лицо застенчивого летчика. Он не знал, что ему делать с письмом.

Вырос Евграфов в скромной рабочей семье в Москве. Там же, в Москве, он закончил аэроклуб. И вдруг вот такой день. Правда, весть о победах этого молодого летчика быстро разнесли газеты мира, радио, и, должно быть, молодой англичанке только поэтому стало знакомо его имя.

Берил Нортскот было, как выяснилось из письма, всего шестнадцать лет. О чем же он, Вадим, сможет написать ей.

Он стоит в смущении, вертит в руках письмо. А полковник, совсем не шутя, говорит:

— Читайте и, не задерживаясь, отвечайте. Вы не думайте, что только у нас есть патриоты. У нас немало друзей и в других странах.

Вадим Евграфов читал письмо. Берил называла его Вадимом Николаевичем, храбрым русским летчиком, рыцарем воздуха, о делах которого она знала неплохо. Она поздравляла летчика с победами и просила его и всех русских летчиков беспощадно и до конца бороться с нацистами. Коротко она рассказала и о своем житье-бытье, очень коротко, но просто и убедительно. Берил Нортскот описывала жизнь в Лондоне, и понятно было, что она очень любит свою страну, свой домик с садиком на Гертон Роуд и очень огорчена, что теперь в Лондоне вместо газонов с цветами появились огороды, и на них выращиваются овощи. Цветов у домика почти не осталось. Она писала Вадиму, видимо, от всего сердца:

«Я сильно полюбила вашу страну, ее людей, героев. Я так хорошо представляю необозримые просторы ее, города — Ленинград, Сталинград, а главное Москву. Я много читала о Москве и твердо решила когда-нибудь увидеть своими глазами, да, именно своими глазами, увидеть не только Москву, но и большую, мужественную Россию.

И, быть может, я увижу вас, Вадим Николаевич, которому так сердечно и искренне сейчас пишу от имени всей нашей семьи и от своего имени лично. Я знаю, — но возможно не совсем точно сообщают наши английские газеты, — что вы родились в Москве. Это меня весьма и весьма радует. Будем знакомы».

Ответ был написан.

«Мы с вами союзники и боремся против нашего общего врага — гитлеровской Германии, — отвечал Вадим Евграфов. — Русский народ, воины Красной Армии и Военно-Морского Флота восхищаются героической борьбой вашего народа, особенно ваших летчиков, наносящих удары по Берлину, Данцигу, Штеттину, а также и по другим крупнейшим промышленным центрам Германии. Победа близка, и она наша. За ваше письмо мои товарищи и я лично передаем вам глубокую благодарность. Знайте, что мы сделаем значительно больше, чем делали до сих пор. Пошады от русских людей и от балтийских летчиков-моряков гитлеровцам не будет. Закончится война, и на ваших газонах будет, не сомневаюсь, много живых цветов, которые вы так любите. Важно только одно — крепить нашу дружбу, и тогда ваши цветы на газоне никто не будет топтать и портить. Я тоже люблю цветы и воюю за то, чтобы гитлеровский сапог не топтал их, не истреблял наших людей, не разорял городов и сёл. Новая жизнь непременно зацветет, и смысл ее будет заключаться не в том, чтобы люди убивали друг друга, а в том, чтобы жили счастливо и мирно. Желаю вам, Берил, успехов и радости».

В день отправки этого письма в Лондон на счету Вадима Евграфова значилось уже семь потопленных фашистских кораблей, и командование представило его к званию Героя.

Вскоре из Калифорнии прибыл бомбардировщик. На борту — надпись на английском языке. Мы вскрыли запломбированный ящик и нашли в нем письмо американского актера Ред Склелтона. Он просил передать самолет, купленный на его личные сбережения, одному из наших лучших летчиков. «Впоследствии, — писал актер, — я хотел бы познакомиться с тем человеком, который будет управлять этим грозным самолетом».

Актер желал летчику счастья и удачи. И еще он написал: «Я знаю, что не мне говорить вам, как надо бить врага».

Самолет достался гвардии капитану Стрелецкому, который на другой день в 8 часов утра торпедировал вражеский корабль водоизмещением в 12 000 тонн. В этот день отличился и летчик Аркадий Чернышев, двадцатилетний проходчик туннелей Метростроя.

В 4 часа 30 минут утра Чернышев торпедировал шестой корабль противника. Разыскивая его, летчик находился в воздухе 10 часов 39 минут. Чернышев работал шесть дней в неделю, седьмой отдыхал. И каждый день приносил гвардейскому полку победу. В течение шести дней он пустил на дно моря корабли общим водоизмещением в 33 тысячи 600 тонн. Отважный летчик получил звание Героя Советского Союза. Правительство Великобритании отметило Чернышева орденом кавалера «Британской империи».

II. КАК ЭТО БЫЛО

Над землей ползла противная свинцовая дымка. Дымка сгущалась, и на аэродроме все казалось пепельно-серым.

Преображенский не спал две ночи. Глаза у него большие, воспаленные, веки вспухшие. Он сидел на командном пункте и водил карандашом по листу бумаги. На бумаге — имена и фамилии летчиков-торпедоносцев.

— Евграфов не пойдет, — кашляя, говорил он. — Колесник тоже не пойдет. Ему давно отдохнуть надо... Пучков? Нет, Пучков тоже устал! Стрелецкий сегодня полетит.

Капитан Стрелецкий, штурман Афанасьев и стрелок-радист Трусов пошли к самолету.

— Только вы смотрите мне, — взявшись за дверную ручку, сказал полковник, — дорога у вас длинная, погода прескверная. Топите корабль покрупнее. Тогда не обидно будет за все.

— Не беспокойтесь, товарищ полковник, все будет сделано, — заверил Стрелецкий.

Моторы на самолете были прогреты. Они работали хорошо. Под крыльями поблескивала «сигара» — подвешенная торпеда.

В 4 часа 30 минут утра Стрелецкий оторвался от земли и круто пошел вверх. Он решил пробить облака. Но самолет сразу стал покрываться ледяной коркой.

Облачность прижимала самолет к земле. Ох, эта коварная зимняя облачность!..

— Нельзя ли подняться выше? — спросил штурман.

Стрелецкий поднялся выше и повел машину исключительно по приборам. Вскоре над морем стало чисто и ясно.

Стальная птица стремительно неслась над просторами Балтики. Вода серебрилась, поблескивала. Утреннее небо загорелось на востоке. Берега заискрились на солнце, на миг ослепили глаза своей белизной.

Они долго ничего не находили, потом из-за горизонта на встречном курсе показался двухмачтовый корабль.

— Ну, наконец-то, — сказал капитан Стрелецкий, — придется действовать! Тоннаж подходит! Не промахнуться бы!

Вражеская посудина во всяком случае была не менее 5000 тонн водоизмещения. Шла она в охранении двух быстходных сторожевиков. Не на прогулочку!

Стрелецкий приготовился к атаке. Короткие секунды торопят летчика. Еще больше — штурмана. Из-за этих коротких секунд они летели сюда. Из-за них пробивали туманы и облачность... Короткие секунды.

Сторожевые корабли противника, заметив самолет, сразу ринулись ему навстречу и открыли бешеный огонь из автоматов и пулеметов. Стреляли и с двухмачтового «кирпича»-посудины...

Капитан Стрелецкий развернулся, чтобы стать на боевой курс. Неожиданно он почувствовал, как его словно огнем опалило, — каким-то тяжелым предметом ударило по левой ноге. Во рту сразу горько и солоно, что-то сдавило горло. Дрожь прошла по телу...

С чего бы это? А секунды бежали! Самолет еще не стал на боевой курс. Но непременно должен стать. Левая нога заныла, одеревенела. Стрелецкий глянул на нее и понял — нога перебита. Кровь лилась по мягкой шерсти разорванного широкого унта...

Самолет все-таки стал на боевой курс. Голова у летчика кружилась, но глаза видели цель хорошо. Прицел не двоился. Отчетливо вырисовались две высокие мачты и широкая труба.

Нос самолета пришелся правее корпуса. Хорошо! Значит, торпеда пройдет прямо по центру. Обязательно пройдет по центру.

Правая рука штурмана потянулась к электросбрасывателю. Пальцы нажали кнопку. Торпеда пошла... Самолет с шумом пронесся над черной трубой корабля, как будто предупреждая его о гибели...

— Товарищ капитан! Коробка тонет, — закричал в телефон штурман, — надо сфотографировать коробку! Ну, подверни же. Запоздаем...

— Торпеда ударила по центру! — волновался стрелок-радист. — Подворачивайте... я щелкну его. Он разломился... Ай, что же вы делаете, товарищ капитан, фиксация пропадает! Фиксация...

Ответа не было. Самолет, уходя от пораженной цели, неестественно забирался вверх, иногда резко падал, выравнивался, снова карабкался вверх, терял скорость...

— Петя! Петр Федорович, что у тебя там происходит? Товарищ капитан... почему вы не отвечаете? Надо же подвернуть к тонущему кораблю! Товарищ капитан... — старался штурман.

Ответа не было. Тогда штурман сказал стрелку:

— Наш капитан не отвечает. Очевидно, повреждена внутриэкипажная связь.

Стрелецкий ответил коротко:

— Связь в порядке!

Но что же происходило тогда в кабине пилота? С левой стороны торчали растрепанные прутья тридцати шести перебитых электропроводов. Целыми оставались только два аккумуляторных провода. Если бы и они были перебиты, то самолет мог бы загореться. На приборной доске сохранились только приборы высоты, скорости и «пионер!» Остальные бездействовали. Сколько осталось в баках горючего — неизвестно. Какое число оборотов дают моторы — неизвестно. Наддув — неизвестен. Температура головок цилиндров — тоже неизвестна.

И все бы еще не беда, да в глазах стало мутнеть у капитана. Голова кругом пошла...

Стрелецкий не торопился сообщить об этом штурману. Оставив управление и действуя только правой ногой, он старался перехватить ремнем планшетки раненую ногу повыше колена.

Руки его работали быстро. Они должны были рабо-

тать быстро: на постороннюю помощь нельзя было рассчитывать. В его кабину никто не мог пробраться. Все надежды он возлагал на себя. А силы слабели. Сознание быстро уходило. Вот-вот наступит обморочное состояние.

Когда самолет, набирая высоту, начинал терять скорость, Стрелецкий хватался за штурвал, выравнивал самолет, ставил его в положение нового набора высоты и опять принимался стягивать ремненным жгутом свою ногу.

Так несколько раз.

Это были неимоверные усилия воли, минуты тяжелых страданий, которые еще только начинались.

Ремни планшетки выскальзывали из рук, срывались, соскакивали, скручивались... А ведь сейчас для того чтобы жить, чтобы спасти экипаж, главное — наложить этот жгут, приостановить кровь.

Наконец, ремень туго затянут. Первое испытание Стрелецкий выдержал. После этого он сообщил штурману, что ранен.

— Я понял это, — сказал штурман. — Я понял, почему самолет стало швырять из стороны в сторону. Сумеешь ли дотянуть самолет до нашей земли?

— Сумею, — сказал капитан, и почувствовал, что руки его снова слабеют, здоровая нога сползает с педали, а глаза медленно закрываются.

«Неужели вот так просто наступит конец? Неужели мы врежемся в воду?»

Стрелецкий встряхнулся, широко открыл глаза, прижался плотнее к спинке. Самолет шел прямо в воду.

Секунда! Ох, эти короткие секунды в жизни! Что могут сделать они!

Метрах в четырех от воды Стрелецкий выравнивал самолет и заставил его подняться выше. С диким ревом завыли моторы. Стрелецкий установил число оборотов.

«Надо дойти!» Но легко сказать — «дойти»...

Все перепуталось: и земля, и небо, и постройки, над которыми Стрелецкий пролетел совсем низко. Затуманилось сознание, и мысли поплыли короткими, бессвязными обрывками.

— Ну что, дорогой... Петя, как чувствуешь себя? Есть ли у тебя еще силы вести самолет? — спрашивал штурман. — Крепись, родной. Я знаю, ты не упадешь...

Радист сообщил домой, что командир самолета ранен. Навстречу вылетели истребители прикрытия.

Стрелецкий шел на бреющем. Высоко забираться он не мог, так как на обратном пути погода была исключительно ясной. Он не хотел встречаться с вражескими истребителями. Самолет промчался над батареями врага. Стрелок-радист воспользовался случаем и с высоты пяти метров запустил в ошеломленных немцев длинную очередь. Фашисты кинулись бежать во все стороны, ныряя в сугробы. Никто из них не успел сделать по самолету ни одного выстрела. Штурман подбадривал своего летчика:

— Наша земля! Родная земля! Теперь мы дома! Крепись, Петя!

Но в этот момент Стрелецкий потерял сознание. И, очевидно, инстинктивно потянул штурвал на себя. Самолет полез кверху. Долго самолет лез кверху... что-то очень долго.

Стрелок и штурман вызывали летчика. Они кричали в телефон. Не за свою жизнь — за жизнь командира, которому никто не мог оказать помощи, боялись они.

Капитан Стрелецкий с большим трудом открыл глаза. Сильная тошнота вызвала у него рвоту. Стало легче. Стрелецкий снова взялся за управление.

Немного спустя их встретили свои истребители. Штурман сказал капитану:

— Через полторы минуты мы будем садиться.

Стрелецкий молчал.

Мелькнули знакомые верхушки деревьев, полянка, занесенная снегом. «Здесь надо садиться».

Стрелецкий тянется левой рукой вниз, чтоб выпустить шасси. Не может. Малейшее движение бьет к обмороку. Стрелецкий отдыхает. Затем он снова опускает левую руку. Напрасно!

Еще одно усилие — он наклоняется влево и, преодолевая боль, выпускает шасси. Осталось выпустить шитки. Снова должна действовать левая рука. Снова нужно такое же усилие. Смахнув рукой холодный пот со лба, Стрелецкий при четвертой попытке выпускает шитки.

Самолет пошел на посадку. Он идет с креном. Надо выровнять. Вывожу. Но впереди, прямо по носу, показался другой самолет.

«Что же, пришел домой и так нелепо врезаться!.. Правый тормоз!»

Машину повело вправо. А справа — это хорошо помнил Стрелецкий — высокие сугробы снега. Там он за-

роется в снег, скапотирует и разобьется. «Для того ли я летел сюда?»

Он должен дать левый тормоз. А как это сделать? Стрелецкий схватил рукой левую разбитую ногу, сунул ее в педаль:

— Вот так!

Впереди снова мелькнули самолеты, но то уже был мираж. Его машина бежала по аэродрому, и летчик чувствовал, что площадка кончается, а самолет бежит и бежит...

Притормаживая его, он выключил моторы, закрыл глаза и откинулся на спинку. Теперь он все сделал, и больше у него нет никаких желаний, кроме одного — спокойно уснуть...

Его вытащили через колпак, дали стакан спирта, и он увидел перед собою своего штурмана, стрелка-радиста, командира соединения, своих друзей-летчиков. Они смотрели на него растроганно и гордо. Стрелецкий тихо прошептал:

— Задание выполнили!

Хирург морского госпиталя, один из опытнейших специалистов, был в чрезвычайно затруднительном положении. Жизнь Стрелецкого была в опасности. Слишком много он потерял крови. Разрывная, одна единственная пуля, раздробила ему ногу в пятнадцати сантиметрах ниже колена и в пятнадцати сантиметрах выше колена.

Хирург применил все свое искусство, оперируя летчика. Для первого раза он перелил 750 кубиков нолевой крови, которую дали ленинградские женщины. Операция длилась долго. Жизнь Стрелецкого была в опасности. Тогда хирург перелил ему дополнительно 430 кубиков крови и применил новый физиологический раствор. Через несколько дней началось улучшение.

Когда Стрелецкому влили еще 220 кубиков крови, он попросил себе на память бутылочку с этикеткой. На бутылочке значилась группа крови и фамилия ленинградской женщины, отдавшей эту кровь.

— Наверное, — сказал Стрелецкий, — Анастасия Соловьева не знает, кому досталась ее кровь. А мне хотелось бы принести ей свою благодарность. Поправлюсь, отыщу ее, и она, эта благородная и мужественная ленин-

градка, узнает, что ее кровь не пропала даром. Я еще кое-что сделаю во имя нашей матери-Родины.

И они встретились. Как родные...

Стрелецкий из госпиталя написал письмо американскому актеру Ред Скелтону.

«Дорогой друг!

Мы сделаем все для того, чтобы скорее уничтожить нашего общего врага — нацистов.

Мы сделаем это по-русски, по-гвардейски. Одним словом, мы сделаем и очень скоро сделаем. И вы, господин Ред Скелтон, будете гордиться людьми, которые сражались на самолете «Мы сделаем», подаренном вами. Это ведь ваш девиз, ваша поговорка. Мы готовы в любую минуту пасть смертью храбрых за великие идеи прогрессивного человечества, за мир, за нашу Советскую Родину.

Будьте здоровы. Желаем вам счастья и успехов в вашей трудной работе.

Крепко жмем вашу руку.

Гвардии капитан *П. Ф. Стрелецкий*, командир самолета «Мы сделаем».

Он умолчал только о том, что ему и его штурману Афанасьеву присвоено звание Героев Советского Союза, что на носу самолета «Мы сделаем» справа и слева появились силуэты вражеских кораблей, потопленных в Балтийском море — две подводные лодки, один немецкий миноносец типа «Ягуар» и еще четыре корабля. Он не сказал, что тоннаж вражеских кораблей, торпедированных с этого самолета, перевалил за 50 000 тонн. А к 19 февраля 1945 года гвардейским полком было потоплено 183 немецких корабля общим водоизмещением 827 700 тонн. Но об этом гвардии капитан Стрелецкий написал Ред Скелтону позже.

III. КУДА ЖЕ ПЛЫТЬ

Летчики-торпедоносцы Мифтахутдинов и Богачев в воскресенье вылетели на свободный поиск вражеских кораблей.

Погода была плохая. Десятибалльная облачность и мелкие моросистые осадки требовали от экипажей осо-

бой напряженности. Туман то сгушался, то рассеивался. Очертания берегов исчезли. Маревая дымка затянула почти все пространство. Возвращаться на базу, так ничего и не сделав, Мифтахутдинов и Богачев не хотели. Оба летчика были настойчивы и упорны.

Моторы работали хорошо. Курс выдерживался точно. Потом и погода слегка улучшилась.

Торпедоносцы проносились над морем бредущим, забирались на большие высоты, летели ломаным курсом, но кораблей врага нигде не было видно.

Безрезультатное блуждание над морем утомило летчиков. Запасы бензина иссякли. Наконец Мифтахутдинов и его стрелок заметили караван судов, идущий в охране боевые корабли. Мифтахутдинов радировал о местонахождении каравана, но атаковать его не стал, так как обнаружил в стороне более крупный транспорт с меньшим охранением. Богачев передал Мифтахутдинову:

— Пойдем в атаку!

Мифтахутдинов ответил:

— Идем!

Двухтрубный транспорт водоизмещением в 10 000 тонн был подходящей добычей.

Мифтахутдинов пошел в атаку, но допустил ошибку: вырвался вправо.

При вторичной атаке с транспорта и с кораблей охранения открыли заградительный огонь. Одним из снарядов у самолета Мифтахутдинова был разбит правый мотор. До цели осталось метров 400, сворачивать в сторону уже нельзя было. Мифтахутдинов пошел в атаку на одном моторе, — он не мог упустить такой транспорт.

Летчик старался выдержать равновесие и направление. Второй снаряд ударил по носу самолета. Машина стала терять скорость. Но Богачев уже сбросил бомбы. Транспорт начал тонуть.

Самолет не мог дальше лететь. Мифтахутдинов принял решение садиться на воду. Он подвел машину к воде хвостом. Удар от этого смягчился, но самолет стал быстро погружаться в воду.

При ударе штурмана выбросило из кабины. Падая в море, он сломал себе руку. Стрелок выбросился в одной фланелевке. У Мифтахутдинова была разбита рука, но он сумел сбросить лодку и сам прыгнул в ледяную воду.

Надо было накачать лодку воздухом. Большая волна

разбросала летчиков в разные стороны. Три часа боролись они со стихией, стараясь наполнить лодку воздухом. Кое-как это удалось сделать. Подобрали штурмана, совершенно обессилевшего. Бортовой паек был сброшен своевременно. Но и здесь случилась беда. Продукты размокли. Сохранились три банки консервов и две пригоршни мокрого печенья.

Куда же плыть? Кто подберет? А если покажутся фашисты?

Мифтахутдинов сказал:

— У меня остался пистолет. Живыми в плен сдаваться не будем.

Все с ним согласились.

Штурман склонил голову на борт.

Холодный ветер кружился над ними, пенились волны, обкатывая лодку острыми брызгами.

Настал туманный вечер. Холод усилился, разбушевавшиеся волны бросали лодку, словно скорлупку.

Брызги застывали на лицах и резине мелкими льдинками. Ноги деревенели, подергивались судорогой.

Длинной кошмарной вечностью потянулась ночь вдалеке от Родины, в свирепом море, где не видно ни звезд, ни месяца. Три продрогших до костей человека, прижавшись друг к другу, ждали утра, словно своего нового рождения. А утро было еще далеко-далеко.

Клонило ко сну. Тошнило. Стучало в висках. Спать нельзя было, — иначе смерть.

Холодная и злая была эта ночь.

— Слушай, Аксенов, — шептал Мифтахутдинов. — Не спи, пожалуйста, утро скоро придет.

Но утро пришло не скоро, и было оно серым, нерадостным.

Море совсем почернело и разбушевало так, что в любую минуту могло перевернуть резиновую шлюпку. Трудно было держаться на кипящей воде, где густой туман цеплялся за головы.

Мифтахутдинов открыл консервную банку и выдал всем по кусочку мяса, по штучке печенья.

— Больше не дам, — сказал он.

Целый день зеленые волны убаюкивали их. Один вал набегал на другой, волны смыкались и, поднявшись острыми гребешками, обрушивались на лодку.

Настала новая ночь. Она была длиннее и холоднее

первой. Море клокотало. Штурман отчаянно стонал, у него ныла сломанная рука, коченел стрелок-радист. Руки его не сгибались, ноги казались чужими. Мифтахутдинов продрог не меньше других. Он сопротивлялся всему, и даже самому себе. От его воли зависело многое. Но сколько же можно испытывать свою волю?

Вторая ночь прошла.

День настал. И день этот ничем не отличался от черной ночи. Так прошло три дня, три ночи.

На четвертый день, когда они съели консервы из одной банки, небо поглубело. Мифтахутдинов прислушивался, напрягал зрение и вдруг заметил силуэт «Босто́на».

— Друзья, — крикнул Мифтахутдинов. — Помощь идет!

Все подняли головы... «Бостон» пролетел стороной.

На пятый день Мифтахутдинов увидел в небе четыре «Босто́на». Казалось, они покачали крыльями. Но это только показалось. Машины прошли на запад. Нечем было дать сигналы. На одном из самолетов Мифтахутдинов заметил цифру 22.

Так прошел пятый день и пятая ночь, шестой день и шестая ночь.

На седьмой день они заметили вдаль островок. Подплыли, и вода выбросила их лодку на камни.

Мифтахутдинов послал стрелка узнать, где они находятся, какой это остров? Не пройдя и пяти шагов, стрелок упал. Мифтахутдинову пришлось принести ему остатки консервов.

Скоро они набрали на крохотную избушку. Трое пошли к избушке. В ней никого не было. Они попили воды и легли спать. Сон покрыл все.

На восьмые сутки летчики снова вышли в открытое море, так как остров, на котором они задержались, оказался чужим.

В полдень вблизи появился бот.

— Москва! — крикнул Мифтахутдинов.

— Мы — Ленинград, — поняв всё, откликнулись с бота.

Резиновая лодка и бот сблизились. Это были люди с боевых кораблей, выполнявшие дозорную службу.

Спасенных доставили в госпиталь, откуда они вернулись в часть.

Мифтахутдинов бережно хранил аварийную шлюпку.
— После войны, — сказал он, — я подарю эту шлюпку музею. Она спасла три жизни.

IV. НАД ЛАДОГОЙ

Полковник распорядился поднять в воздух подготовленные к перегону самолеты.

Стрелки-радисты, техники, штурманы и даже командиры экипажей грузили тяжелые ящики, неуклюжие мешки с продовольствием, запасные части для самолетов, летное обмундирование и все необходимое для действующей части. Полковник, как всегда без суетливости и горячки, давал указания подчиненным. Некоторых он поторапливал, ободрял и недоверчиво поглядывал на небо, словно предчувствовал, что погода испортится, хотя мороз был крепкий, а небо чистое.

Полковник сказал Плоткину:

— Работы у нас, Михаил, будет много. Сюда мы не скоро вернемся. Пойди домой, попрощайся с семьей.

Ехать в деревню Михаилу Плоткину не пришлось. Мария Алексеевна, его жена, сама прикатила на аэродром в крестьянских санях с Людочкой, привезла подарки и добрые пожелания.

Мария Алексеевна была в белом пуховом платке, в коротенькой синей шубке. Щеки ее горели на морозе. Она грустила и радовалась. Она была рада, что ее Миша поведет в часть пополнение бомбардировщиков, значит, поможет фронту. А грусть? Грусть — не помеха при разлуке...

Глядя на эту женщину, единственную на аэродроме, каждый из нас в эту минуту думал о своей семье, о своих детях.

Мы попрощались.

Полковник дал сигнал, и мы быстро разошлись по самолетам.

Рядом со мною в просторной стеклянной кабине штурман Рысенко. Он наполовину высунулся из люка, наблюдает за взлетным полем.

Плоткин включил моторы. Они взревели грозно и гулко. Эхо отозвалось в лесу и в деревне.

На других восьми машинах, сотрясая воздух и землю,

бешено загудели еще шестнадцать многосильных моторов. Высокими столбами закружилась снежная буря. Самолет, медленно покачиваясь, вырулил на старт. Гул немного притих, а потом, когда моторам был дан полный режим, машина стремительно помчалась по ровному полю к лесу. Штурман Рысенко захлопнул верхний колпак. Я не заметил, как мы оторвались от земли, и понял, что мы в воздухе, когда увидел внизу деревню, мельницу, а поодаль крестьянские сани. На санях, держа за руку Людочку, неподвижно стояла женщина в синей шубке — Мария Алексеевна.

Наш самолет быстро и плавно набрал высоту. К нему пристроились ведомые. Плоткин качнул крыльями, простившись еще раз с Марией. Мы взяли курс на Ленинград.

Был полдень. В небе — синева, прозрачность. Внизу сплошная, режущая глаз белизна. Борзов и Кузнецов шли рядом почти крыло в крыло.

Моторы поют, поют. Прогревшись, они набирают побольше силы и как будто просят прибавить газку. И Михаил Плоткин прибавляет.

У него свой стиль, особый почерк полета — плавный, методический, точно рассчитанный. Машина не дергается, не вздрагивает с вибрированием, не «кряхтит», как у некоторых, — плывет лебедью. Великого мастерства достиг человек в покоренном воздухе. Нет, не зря о нем говорит авиационная Балтика, что он настоящий рыцарь воздуха.

Плоткин молчалив и нем в полете. Штурман Рысенко знает это и не обременяет его излишними разговорами. Он изредка бросает короткое слово, делает летчику необходимые поправки. Стрелки их экипажа Петров и Мишенька Кудряшов дело свое знают. От их острого глаза в воздухе ничто не ускользнет.

Внизу знакомые места: просторное студеное озеро, береговые чернеющие развалины.

Рысенко не сразу заметил впереди по курсу темную тучу. Но то не туча была, а эскадра из двадцати семи вражеских истребителей. Он смотрит вперед напряженно.

— Строго держаться строя, — поступил приказ полковника, стрелки которого — Кротенко и Рудаков — давно заметили фашистов.

Штурман сказал в трубку:

— Прямо по носу. Видите?

Плоткин ответил:

— Вижу.

Самолет идет прямо. Похоже, что Михаил решил врезаться тараном в эту густую тучу истребителей. Да он другого решения принять и не мог. Ясно сказано командиром: «строго держаться строя». Самолет настойчиво идет прямо по курсу, на той же скорости, на той же высоте.

— Хорошенькое дело, — рассуждает вслух штурман Рысенко, — на одну эскадрилью бомбардировщиков целый полк истребителей — силы в три раза превышающие...

Положение создавалось не шуточное.

Для устрашения один «смельчак» из вражеской армады вырвался кверху и стал кувыркаться мячиком, показывая фигуры действительно высокого пилотажа.

В нашей эскадрилье замешательства нет. Полковник повторяет приказ: «Строго держаться строя! Огонь открыт на минимальном расстоянии».

Вражеский истребитель, который забрался выше других, резвится, кувыркается, эдаким цирковым акробатом выразит, завывая падает, взмывает...

— Наши пулеметы поставлены «на товсь!».

Предстоит битва. Кому из нас лежать на земле — неизвестно.

Вражеская эскадра истребителей берет нас в крепкие клещи. Она разорвалась на четыре части: по носу — одна, лобовая, слева и справа — фланговые, сверху — центральная, нападающая! Хитро задумано.

Наши стрелки-радисты определили радиусы своих действий. Плоткин не меняет курса.

Воздушный «акробат» с диким ревом мотора сваливается с неба на машину Плоткина. Мишенька Кудряшов, кудесник Кудряшов, ждал этого, — он дал короткую, но меткую очередь. Лихой «акробат», словно с каната сорвавшись, едва не задев хвост нашей машины, вспламенился и врезался мотором, словно копьем, в землю. Пламя и черный дым сразу поднялись из земли шаром, и больше мы не видели фашиста. Стрелок-радист Петров двумя пулеметными очередями свалил на землю еще одного воздушного наездника, а стрелки Борзова сбили две вражеские машины.

Пулеметы нашей эскадрильи работали интенсивно. И головная вражеская туча самолетов не выдержала:

взмыла вверх, не приняв боя. Фронт вражеских истребителей был прорван.

Эскадрилья гвардейцев продолжала свой путь сомкнутым ровным строем. Казалось, ей ничто не может преградить дороги.

Несколько настойчивых попыток атаковать нас с боков не увенчались успехом. На землю свалилось еще два вражеских самолета. Враг продолжал свои атаки, а головной, Плоткин, словно ледокол в море, пропахивал дорогу, оставаясь неуязвимым.

Сергею Кузнецову хотелось подраться один на один, хотелось вырваться вперед, показать, как бомбардировщики могут состязаться в ловкости с истребителями, но вовремя предупрежденный полковником — «не вздумай заниматься глупостями» — он сбавил газ, охладил свой пыл.

В такой обстановке особенно нужны были организованность и железные нервы. Слева по борту надвигалась новая атака — ринулись три истребителя. Справа по борту, разрывая воздух, со страшным ревом с большой высоты пошли в атаку еще шесть истребителей. В воздухе стоял такой вой и трескотня, что хоть затыкай уши.

Огненные всполохи горящих самолетов все взметывались; где-то сзади немилосердно гудело, шипело, неприятно клокотало и яростно выло.

Полковник передал:

— Держитесь, ребята! Ловко выходит. Все наши самолеты целы. Больше бдительности! Больше...

Падающие вражеские самолеты проносятся возле наших. Это какая-то счастливая случайность, что они не врезаются в наши машины.

В нашей эскадрилье уже несколько раненых, несколько стрелков-радиотов убито. Но в таком бою не может не быть потерь. Противник потерял больше. В воздухе у него осталось не больше десяти самолетов, а ярких костров на льду озера много.

Плоткин по-прежнему спокойно и сосредоточенно поглядывает через стекла кабины. Картина вокруг суровая и мрачная. Молчаливо лежат льды Ладоги, свидетели битвы, синее открытое небо.

Не легок путь.

Истребители нападать больше не решаются. Они выжидают.

Боезапасы у всех на исходе. Следует беречь каждый патрон. Скоро мы будем дома.

Но в воздухе появляется новая вражеская армада. Что делать? Неужели бой закончится уничтожением наших бомбардировщиков?

Вдруг новая туча истребителей ринулась на врагов, и в воздухе закрутилась такая «карусель», какой еще не приходилось видеть.

Это были истребители Ивана Романенко. Воздушный бой завязался мгновенно, развивался стремительно. Ладожское небо огласилось ревом железных птиц. Теперь драка будет жестокая, до конца...

Наша эскадрилья продолжает идти своей трассой. А в воздухе все грохочет, кипит. Бой идет так близко от нас, что можно заметить на самолетах и ярко-красные звезды и крупные белые номера машин, обведенные красными линиями.

Я узнаю машину комиссара Сербина — «22». А это воздушный почерк Ивана Георгиевича. Ну да, «21» — счастливый, известный номер. Здесь и майор Белоусов — все они здесь! Хорошо дерутся гвардейцы, ничего не скажешь.

Вражеские самолеты валяются на лед Ладоги.

Вот оно, новое надледное побоище!

Воздух, кажется, звенит, накаливается, насыщается отработанным бензином, заволакивается черным дымом.

Летчики Романенко не дают врагам опомниться. Сила удара нарастает с каждой секундой.

Не знаю, какой уж по счету самолет сбивает Голубев, какой рушит на землю Алим Байсултанов, Костылев? Иван Сербин и Иван Романенко вдвоем набрасываются на врага, рубят пулеметами, вдвоем взмывают, вдвоем идут в очередной заход.

Нарубили гвардейцы не мало.

Мы подходим к своему аэродрому, совершаем посадку. Все самолеты в полной исправности.

Командующий прибыл на аэродром, спрашивает:

— Как самочувствие, товарищи?

Полковник отвечает:

— Нормальное.

— Хорошо ли поддержал вас полковник Романенко?

— Отлично. Он еще там над Ладогой управляется — последних добывает.

Михаил Плоткин молча сидит на бочке с огурцами, только что выгруженной из самолета. Шлем в руках. Лоб мокрый. Он растирает затекшие ноги, натягивает шлем и медленно идет на КП.

Я гляжу ему в след, и мне представляются крестьянские сани, лицо Марии Алексеевны, синяя шубка с белой опушкой и рядом — Людочка. Они не знают, что было сейчас над Ладогой...

Утром ленинградские газеты сообщили о серьезной победе балтийских летчиков. В Балтийском море было потоплено четыре крупных немецких транспорта и в воздушных боях сбито 20 самолетов противника.

В этих сообщениях упоминались имена отважных летчиков из подразделений полковников Преображенского и Романенко, подробно рассказывалось, как дрогнули боевые порядки врага на море и в воздухе, как наши истребители врзались во вражеские строи, ломали их и уничтожали.

Еще сообщалось о битве на земле за знаменитую Дубровку, о которой поэт сложил живые строки:

Дубровку брали русские солдаты —
«Дубр» был за нами, «овка» за врагом!
Здесь шли орлы за ледяной Невой,
Здесь, презирая смертного врага,
Герои шли глухой тесниной боя,
Туда, где все пути замкнула Мга.
Устала сталь. Тряслись орудий дула,
«Катюши» били, и дотла, дотла
Все жгла гроза. И звезды в бездну сдула
И до небес достигшая метла.
Снаряды мчались, будто вперегонки,
Окрестный мир качался, вздыблен весь,
Вновь млел закат. И, кроме как в воронки,
Снарядам негде было падать здесь.
Где левый берег? Нет его, он срезан.
Ни с кем, ни с чем простора не деля,
Здесь рваное и ржавое железо —
Вонстину железная земля!

Потомок дальний! Будешь здесь когда ты,
То знай, что рядом, легионы стеной,
Воистину железные солдаты
Засыпаны железною землей.

Они, презрев смертельные угрозы,
Легли отчизны новою стеной...
Товарищи! Мы здесь посадим розы,
Красней не будет в мире ни одной.

V. ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ

Михаил Плоткин подарил мне свое фото. Перед этим он стеснительно спросил:

— Можно зайти к вам?

Мне всегда было приятно говорить с этим удивительно скромным человеком, и я заранее обрадовался тому, что мы посидим с ним часок-другой.

И вот он входит. Переминаясь с ноги на ногу, не знает с чего начать, а в руках бережно держит что-то.

— Вот, — улыбается он смущенно, — никогда в жизни не имел привычки дарить свои фотографии, не любил сниматься. Фотограф скажет — «садитесь, спокойно, снимаю»... нажмет на затвор, и меня — я уже не раз проверял — дергает как электрическим током. Нет ли тут какого-нибудь излучения, действующего на человека? С вами не случилось такого?

— Случалось. Но я никогда над этим не задумывался.

— Так вот, — говорит он, — возьмите в знак памяти о нашем полете над Ладогой. Здесь мы все втроем: Любочка, Мария и я, медвежатник.

На обороте я прочел дружескую надпись.

Я долго любовался фотографией. Поблагодарив Михаила Николаевича, я положил подарок в походную сумку. А поговорить нам тогда не пришлось: гвардейцы получили задание, и Плоткин быстро ушел.

Прошел месяц с того памятного боя над Ладогой. За этот месяц много было сделано. Почти каждый день и каждую ночь, не зная отдыха, гвардейцы производили удары по вражеским аэродромам, по батареям, продолжая при этом еще обстрел нашего города, по кораблям противника и железнодорожным эшелонам, идущим из тыла.

Месяц напряженной работы принес гвардейцам немало успехов.

Каждый день кому-нибудь вручались правительственные награды. В кают-компаниях, на аэродроме, в эскадрильях, в штабе полка и в кабинах самолетов все чаще и чаще появлялись плакаты.

«Слава отважному экипажу гвардии старшего лейтенанта Разгонина, отлично выполнившему боевое задание! Он потопил 10 вражеских кораблей и транспортов общим водоизмещением 38 000 тонн».

«Да здравствуют отважные соколы экипажей гвардии

капитана Шаманова и гвардии старшего лейтенанта Разгони́на, нанесшие новые крупные удары по врагу».

«Поздравляем отважный экипаж гвардии капитана Пяткова с потоплением очередного вражеского транспорта».

Гвардейцы хранили и множили традиции морской гвардии.

Фотовитрины менялись ежедневно, и мы все с вниманием следили за тем, как убедительно и ярко раскрывались таланты летчиков.

Михаил Плоткин среди них был на особом счету. Еще в прошлую войну он показал себя новатором и специалистом в постановке мин в море, в скалистых шхерах и прямо в портах противника.

И теперь он занимался тем же. Придет незаметно в чужой порт, где скопились корабли, с самой малой высоты наставит мин и спокойно уйдет. Лучше Плоткина никто не минировал вражеские воды.

В последнее время его часто фотографировали. Писали о нем в газетах, отмечали в сводках, в приказах командующего, награждали медалями, грамотами, орденами. И он накопил у себя так много фотографий, что не знал, куда их девать. Целую дюжину он подарил с трогательными надписями полковнику Преображенскому. Вторую дюжину надписал комиссару Оганезову. Большой пакет фотографий он отправил семье. Словом, решил разгрузить свое личное хозяйство. Подарил фото Борзову, Дроздову, Васильеву, Пяткову, Советскому, Лорину, Стрелецкому, Шаманову. Он думал, что они уберут его подарки куда-нибудь. А они взяли да поразвесили его портреты каждый над своей койкой. Плоткин стал хмуриться, сердиться, потихоньку ворчать — дело ли?

Однажды он совсем обозлился. Штурман Никита Котов — друг верный — всю стенку возле своего стола облепил плоткинскими фотографиями.

— Ты что, — говорит Плоткин, подходя вплотную к Никите, — чудить вздумал?

— Ну что ты, Миша?

— Для этого ли я дарил тебе все это?

— Тут нет ничего худого, — оправдывался Котов.

— Не нравится мне, убери!..

Последние два дня Плоткин был занят подготовкой серьезной и опасной операции. Он тщательно изучал мор-

ские и сухопутные карты, занимался точными исчислениями, секретными чертежами. Никто не знал, когда Плоткин приходил на завтрак, обед и ужин и когда уходил. Его видели в тельняшке, словно прикованного к рабочему столу, с карандашом в руке. Штурман Рысенко сидел напротив. Они делали свое дело молча. Да собственно говорить им было не о чем. Они понимали один другого без слов. По их сосредоточенным и строгим лицам можно было догадываться, что дело предстоит им нелегкое.

...Оставалось несколько часов до полета. За окном легла черная, непроглядная ночь. На небе — ни звездочки. Кругом удивительная тишина. Михаил Плоткин сказал штурману:

— Пора отдохнуть немного.

Тот кивнул головой, сложил зеленые карты и молча прилег на постель.

В глубокой задумчивости Плоткин посидел еще немного, поправил подушку и, не торопясь, лег. Спать он, конечно, не спал. Мысли его неслись через Финский залив, к далекому порту. Там предстоит отчаянная работа. От нее зависит сейчас многое.

Полковник сознавал, на какое опасное и рискованное дело он посылает своего лучшего друга. Девяносто девять из ста было за то, что поставленная задача невыполнима. Но послать кого-либо другого полковник не мог. Он знал, что задачу может выполнить только Плоткин, его сработанный экипаж.

Ночью Преображенский пришел к Плоткину. Тот, видимо, вздремнул. Полковник погладил его черные волосы, постоял молча и хотел было уйти. Плоткин открыл глаза.

— Товарищ полковник... — сказал он будто во сне, — это вы здесь?

— Я, Михаил. Я. Спи, друг! Еще несколько часов в вашем распоряжении.

— А там у нас все готово? — спросил он, имея в виду подвеску мин.

— Там все готово, — ответил полковник.

— Ну вот и хорошо. Скорее бы в воздух, чтобы к утру вернуться.

— К утру вернетесь. Но ты скажи мне, Михаил, — тихо проговорил полковник, наклонив голову: — Ты все обдумал? Дело опасное!

Плоткин приподнялся:

— Вы сомневаетесь?

— Сомнений у меня нет никаких.

— Я благодарен вам, товарищ полковник. Все выполняю. Все обдумал. Не беспокойтесь. Дело, конечно, опасное. Понимаю. Но на войне много опасных дел. И самое главное — вы не сомневайтесь.

— Поспи немножечко, поспи, — нежно сказал полковник, — я разбуду тебя, и мы вместе поедem...

— Посплю, — сказал Плоткин. Но так больше и не уснул.

На аэродроме к самолету давно подвешены мины, самолет заправлен до отказа, все испытано и проверено.

В эту ночь многие не спали. Не спали командир полка, комиссар, командиры эскадрилий, начальник штаба майор Бородавка. Все они знали, что задание у Плоткина необычайно трудное.

Настал час вылета.

Полковник Преображенский прибыл на аэродром с Плоткиным, дал экипажу последние наставления, крепко расцеловал летчика. И самолет, не задерживаясь, в ноль-ноль часов взмыл в воздух в лучах прожекторов.

Полковник сказал:

— Не сомневаюсь. Задача будет выполнена.

Время тянулось томительно долго. Связисты неотступно дежурили у аппаратов. Они прислушивались к каждому шороху. Они должны были уловить условный сигнал: «Задание выполнил, возвращаюсь».

Наводящие станции, сторожевые службы и службы наблюдения особым шифром сообщали о прохождении самолета. Все шло нормально, по расписанию. Последняя станция, которая находилась далеко в глубоком тылу противника, ответила на КП тремя словами: «Тундра! Тундра! Я Тундра!» Это означало: «Порядок, порядок и еще раз порядок!»

— Отлично, — проговорил начальник штаба. — Они скоро будут у цели.

Полковник молча сидел у печурки, курил. Дымок папиросы кружился, обвивал его непокрытую голову и сизыми волнами плыл в распахнутые дверцы печурки.

Проходит много времени: длинный, томительный час. В штабе полка тихо. Все молчат и только изредка переглядываются. Тишина нервная, гнетущая, тревожная.

Мысленно представляешь, что где-то там, на чужой территории, в черноте этой непролазной ночи одинокий самолет на приглушенных моторах подходит к цели. Что встретит его — никто не знает. Но если его обнаружат враги, он окажется в море огня. Мы знаем, что в этом порту сосредоточено множество зенитных батарей. Все небо там разделено пристрелянными квадратами. Береговая линия и военный порт в момент опасности становились неуязвимым ежиком.

Полковник курит, смотрит на часы. Приближается роковая минута. Майор Бородавка, чтобы не выдать волнения, переворачивает шуршащие листы бумаги.

Связист Ломов, словно ужаленный, вскакивает и громко кричит:

— Товарищ полковник! Докладывает — «задание выполнил, возвращаюсь!»

Начальник штаба целует Борзова, Дроздова, Дроздов обнимает радиста Ломова... Лица у всех сияющие. Только один полковник сидит молча у печки и курит. Глаза его посветлели, но он знает, что и обратный путь у Плоткина нелегкий. На войне бывают всякие неожиданности. Он будет спокоен только тогда, когда Михаил войдет и сам обо всем доложит подробно.

В три часа утра станция «Тундра» дала — порядок! Самолет проследовал. В три часа тридцать минут «Астрахань» дала — порядок! В четыре часа «Румба» дала — порядок!

В штабе заговорили возбужденно и весело. Такое задание стоит десятка других. Каждый готовился к встрече героев.

Прошло еще несколько томительных минут.

«Светлана» сведений не дала. Но «Светлана» — отличная станция! Не могла же она проворонить самолет! Прошло еще полчаса. «Сибирь» заметила по курсу самолета огненные линии раскаленных выхлопных патрубков.

— Это мне что-то не нравится, — яроговорил полковник.

Все притихли.

Связист Вася Ломов снова вызвал «Светлану» и «Сибирь». Те ничего дополнительного сообщить не могли. Они повторяли то, что уже было принято. Вася Ломов не успокаивался. Он переспросил все станции снова. Тот же ответ.

Наконец предпоследняя станция, «Ковжа», сообщила время прохождения самолета. Все снова обрадовались. Осталось немного — всего двадцать минут до посадки. Совсем немного.

Мишенька Кудряшов неожиданно и тревожно радировал: «Прощайте, друзья гвардейцы... Мы сделали все, что могли сделать...»

Связь оборвалась...

Все, словно громом пораженные, замерли.

Как же так?

Последняя радиостанция «Неман» сообщила о гибели героев.

...В штабе полка идет работа. Но у каждого на душе горе. Быть может, через час мы будем испытывать новое горе. Это неизбежно на войне...

Служба идет своим чередом...

Через день праздник — 8 е Марта. Я вспоминаю Марию Алексеевну. Какой великой скорбью будет омрачен для нее праздник.

Не забыть этих последних слов: «Мы сделали все, что могли сделать!»

...Наш заснеженный и почерневший город. Адмиралтейская игла.

Три дня и три ночи в здании Адмиралтейства сменялся почетный караул. Шли летчики, матросы, жители города, друзья из Кронштадта и без конца несли и несли дорогие венки, живые цветы.

На высоких постаментах в алых убранных цветах гробах покоятся герои, чьи имена никогда не забудутся нами: Мишенька Кудряшов — с застывшей юношеской улыбкой, Михаил Плоткин — суровый и спокойный, штурман Рысенко.

В почетном карауле — командующий флотом, гвардии полковник Преображенский. С другой стороны — члены Военного Совета.

Лицо полковника почернело и осунулось. Оно словно состарилось. Комиссар бледен. Он смотрит в открытое строгое лицо Плоткина, и крупные слезы падают из его глаз.

На улице крепчайший мороз. Телеграфные провода опущены тонкими иглами. Зимний дворец придавлен снежными глыбами.

В саду Адмиралтейства тысячи людей. Сегодня они провожают верных сынов Родины в последний путь.

С минуты на минуту мы ждем Марию Алексеевну. Она вот-вот должна быть. Но пока ее нет.

Процессия движется по Невскому проспекту. Она растянулась от Адмиралтейства до Литейного.

Идут вооруженные матросы, путиловские рабочие, солдаты Ленинградского фронта, рыдающие женщины. Впереди трех траурных машин в безмолвии шагают курсанты морского училища, несут боевые ордена, огромные венки, гирлянды цветов из тонкого металла. Широкие траурные ленты — белые, голубые, красные, синие и черные с золотыми буквами — свисают книзу. Из разбитых окон почерневших домов высовываются головы людей осажденного города.

Невский проспект суров, сдержан и многолюден. Гремит траурный марш. Звуки его несутся далеко за пределы Невского.

Мы идем с полковником рядом. Губы его вздрагивают. Он старается идти твердо, держаться мужественно. Но скорбь видна во всем. Он потерял самого близкого друга, верного товарища, помощника.

В морозном воздухе клубится пар — дыхание людей, идущих с поникшими головами.

Московский вокзал. Старо-Невский. Александро-Невская лавра. Здесь похоронен Суворов.

Открываются чугунные ворота Александро-Невской лавры.

Мы сворачиваем направо и останавливаемся возле двух стройных высоких берез. Открытые могилы. Снег перемешан с мерзлой и крепкой землей. Прощальные слова... Слова скорби и мужества...

Из толпы выходит в черной шали седая, без единой кровинки в лице женщина в синей шубке. С дрожью в голосе, не плача, она произносит:

— Спи дорогой мой сокол, Мишенька, я никогда не сомневалась, что ты исполнишь свой долг перед Родиной.

Мария Алексеевна! Как изменилась она!..

В этот день в 6 часов вечера, вместо прощального салюта в момент опускания погибших героев в могилу, по приказу командующего флотом со всех боевых кораблей, с береговых батарей и фортов был произведен десяти-

нутный огневой налет на передовую линию вражеских окопов. Гром корабельных пушек, дружные сотрясающие небо и землю залпы возвещали о том, что скоро настанет время, когда солнце желанной победы взойдет радостно над всей нашей русской землей.

И оно возшло.

VI. ЗАЛПЫ САЛЮТОВ СОТРЯСАЮТ ВОЗДУХ !

П Р И К А З

ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры войск Ленинградского фронта! Моряки Краснознаменного Балтийского флота! Трудящиеся города Ленина!

Войска Ленинградского фронта в итоге двенадцатидневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев, штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом: городами *Красное село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Ульяновка, Гатчина* и другими и, успешно развивая наступление, освободили более 700 населенных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65—100 километров. Наступление наших войск продолжается.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и захвачены большие трофеи.

В итоге боев решена задача исторической важности: город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.

В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, сегодня, 27 января, в 20 часов город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

За отличные боевые действия *обязательно благодарностью* всем войскам фронта и морякам Краснознаменного Балтийского флота, участвовавшим в боях за освобождение Ленинграда от блокады.

Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы.

От имени войск Ленинградского фронта *поздравляем* вас с знаменательным днем великой победы под Ленинградом.

Слава воинам Ленинградского фронта!

Слава трудящимся города Ленина!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за город *Ленина*, за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Командующий войсками
Ленинградского фронта
генерал армии
Л. Говоров

Член Военного Совета
генерал-лейтенант
А. Жданов

Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант
Д. Гусев

27 января 1944 года

Ленинградцы привыкли к сосредоточенной настороженности затемненного города. Им навсегда запомнились ослепительные вспышки заградительного зенитного огня в низком осеннем небе, роксущем десятками вражеских бомбардировщиков.

Гитлеровцы хотели захватить Ленинград, а когда это не удалось, они пытались разрушить, стереть с лица земли город русской славы. Они забыли, что с тех пор, как у моря основан был город, никогда ни один враг не мог овладеть его чистыми улицами, величественными площадями, строгими набережными.

Город выстоял, непоколебимый, как Россия. Он первый преградил дорогу захватчикам и показал всему миру, что гитлеровские полчища, огненной лавой залившие европейский континент, можно остановить, противопоставив их численному превосходству русское мужество и преданность Родине. В напряженной борьбе Ленинград не был одинок. Вся страна, лучшие сыны братских народов Советского Союза отражали удары хищного врага у самых стен города.

Мы верили, что наступит этот день.

Ленинградцы вышли на улицы, матери привели с собой детей, чтобы на всю жизнь дети сохранили в своей памяти этот незабываемый вечер.

Мы едва угадываем очертания знакомых зданий. Синие огоньки у номерных знаков домов, вспышки трамвая, мелькающий на асфальте отблеск затемненных фар... А жизнь на Невском — деловая, шумливая — не утихает ни на минуту. Мчатся грузовики с боеприпасами на фронт, спешат пешеходы.

По коротким репликам, по обрывкам разговоров на трамвайных остановках и, конечно, прежде всего у репродукторов на оживленных перекрестках можно узнать, чем живет город.

Голос диктора регулирует движение. К нему прислушиваются. «Сегодня в 7 часов 45 минут вечера слушайте важное сообщение».

Диктор повторяет. И немногие направляют свои шаги домой. Важное сообщение — это значит новая радость. А такую весть не терпится узнать, ее надо встречать вместе, вот здесь, в кругу друзей-ленинградцев, а не одному.

«Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город».

Да, мы отстояли Ленинград. Это может сказать каждый, находящийся сейчас вот здесь.

...У Невы, на гранитных набережных, на мостах, небывалое праздничное скопление людей. Через несколько минут начнется салют.

— Какой день, какой счастливый день! — говорит проникновенно немолодая женщина в ватнике и платке. На глазах ее слезы.

— Услышат ли нас в Москве? — спрашивает железнодорожник.

— Услышат! — ободряют его.

Все спешат, все торопятся, все устремляются в одном направлении. Голоса... Смех... Обрывки песен... Как людны улицы, как шумны и оживленны они сегодня!

Когда узкие лучи автомобильных фар прорезают темноту, виден бесконечный людской поток.

Набережные, мосты, Марсово поле, Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, парк Ленина — везде люди. Праздничное возбуждение как будто разлито в

воздухе. Им дышит все вокруг. Все так живо напоминает давние дни, когда собирались ленинградцы на свои традиционные торжества и праздники. Когда это было в последний раз?

Ударило восемь часов.

В мраке затемненного по-военному города далеко разносятся слова приказа.

О, как светло, радостно, как непередаваемо прекрасно стало все вокруг, когда вспыхнули прожекторы, взвились ракеты и, торжествуя, грянул гром салюта! Все вздрогнули, увидев себя, увидев город в первый раз за столько времени в блеске огней, в сиянии победы.

— Здравствуй, товарищ! Ты ли это? — как бы говорят взгляды людей. — Дай я лучше разгляжу тебя, собрат по великой борьбе, с кем я делил все тяготы и с кем сейчас переживаю радость победы.

Здравствуй, город! Так вот ты какой!

Освещенная лучами прожекторов возникла могучая колоннада Фондовой биржи, раскрылся простор Марсова поля, ажур решеток Летнего сада, шпиль Петропавловской крепости.

— Смотрите, смотрите! — толкали люди друг друга, жадно оглядывая знакомый, но в эту минуту по-новому прекрасный город. Смеялись... От радости плакали... Обнимали друг друга...

Первый залп.

Что передумалось в эту минуту? Быстро, как в калейдоскопе, мелькнуло прожитое, трудное, но преодоленное.

— Помнишь, — говорит женщина, — помнишь, как мы укрывались от обстрелов и думали: когда же настанет последний день обстрела?..

— Помнишь?..

Каждому здесь есть что вспомнить. Вспомнить с гордостью, потому что все преодолено.

На улицах стоят те, в честь кого наравне с воинами звучал салют.

Как ждал город наступления этого дня!

Залпы салютов сотрясают воздух. Небо в гроздьях зеленых и красных огней. Еще трудно осознать значение этого дня до конца. Но сердце, замирающее от счастья, не обманывается величиим этой минуты.

Гремит трехсотдвадцатичетырехгромовый орудийный раскат салюта Родины! Из жерл орудий вырывается

огонь и ярким пламенем озаряет свободное ленинградское небо и священную, непокоренную, опаленную порохом и свинцом землю.

Гремит победный салют! Ослепительным светом озарен памятник солдату-полководцу Суворову, который, обнажив шпагу, встал у Марсова поля.

Гитлеровцы бежали от стен Ленинграда, Пушкина, Гатчины. Они устилали дороги своими трупами. Они видели, конечно, какой факел победы взметнулся позади них, над величественным городом-героем.